Понедельник Начинается в Субботу

А. Стругацкий Б. Стругацкий

1965

Оглавление

Часть I

История первая: Суета вокруг дивана

Учитель: Дети, запишите предложение: «Рыба сидела на дереве».
Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?
Учитель: Ну... Это была сумасшедшая рыба.

Школьный анекдот

Глава 1

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокой. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры.

Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь:

— Вы нас не подбросите до Соловца?

Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди.

— Давайте садитесь, — сказал я. — Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло, на заднем сиденье.

— Благодетель! — Обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной.

Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал:

— А можно, я здесь немножко того?..

Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между коленей.

— Дверцу прикройте получше, — сказал я.

Все шло как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите, — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. — У вас плащ защемляется». Минут через пять все, наконец, устроилось. Я спросил: «До Соловца километров десять?» — «Да, — ответил горбоносый. — Или немножко больше. Дорога, правда, неважная — для грузовиков». — «Дорога вполне приличная, — возразил я. — Мне обещали, что я вообще не проеду». — «По этой дороге даже осенью можно проехать». — «Здесь — пожалуй, но вот от Коробца — грунтовая». — «В этом году лето сухое, все подсохло». — «Под затонью, говорят, дожди», — заметил бородатый на заднем сиденье. «Кто это говорит?» — Спросил горбоносый. «Мерлин говорит». Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин, — сказал горбоносый, разглядывая пачку. — Вы из Ленинграда?» — «Да». — «Путешествуете?» — «Путешествую, — сказал я. — А вы здешние?» — «Коренные», — сказал горбоносый. «Я из Мурманска», — сообщил бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же: север», — сказал горбоносый. «Нет, почему же», — сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — Спросил горбоносый. «Конечно, — сказал я. — Я в Соловец и еду». — «У вас там родные или знакомые?» — «Нет, — сказал я. — Просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас — точка рандеву».

Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал горбоносый. «Что делать...» — Сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине». — «Я бы поехал», — сказал я. Россыпь кончилась. «А, так это не ваша машина», — догадался горбоносый. «Ну, откуда у меня машина! Это прокат». — «Понятно», — сказал горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». — «Да, конечно», — вежливо согласился горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола», — заявил я. «Глупо, — сказал бородатый. — Но не все так думают». Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, но их, к сожалению, не продают. Потом горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил. «Колоссально! — Воскликнул горбоносый. — Программист! Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам!» — «А что у вас есть?» — «Что у нас есть?» — Спросил горбоносый, поворачиваясь. «Алдан-3», — сказал бородатый. «Богатая машина, — сказал я. — И хорошо работает?» — «Да как вам сказать...» — «Понятно», — сказал я. «Собственно, ее еще не отладили, — сказал бородатый. — Оставайтесь у нас, отладите...» — «А перевод мы вам в два счета устроим», — добавил горбоносый. «А чем вы занимаетесь?» — Спросил я. «Как и вся наука, — сказал горбоносый. — Счастьем человеческим». — «Понятно, — сказал я. — Что-нибудь с космосом?» — «И с космосом тоже», — сказал горбоносый. «От добра добра не ищут», — сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», — сказал бородатый негромко, но я услышал. «Не надо, — сказал я. — Не надо мерить на деньги». — «Да нет, я пошутил», — сказал бородатый. «Это он так шутит, — сказал горбоносый. — Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет». — «Почему вы так думаете?» — «Уверен». — «А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему, — сказал он. — Вы долго пробудете в Соловце?» — «Дня два максимум». — «Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы — шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены». — «Вам действительно так нужен программист?» — Спросил я. «Нам позарез нужен программист». — «Я поговорю с ребятами, — пообещал я. — Я знаю недовольных». — «Нам нужен не всякий программист, — сказал горбоносый. — Программисты — народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный». — «Да, это сложнее», — сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а — небалованный, бэ — доброволец, цэ — чтобы согласился жить в общежитии...» — «Дэ, — подхватил бородатый, — на сто двадцать рублей». — «А как насчет крылышек? — Спросил я. — Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!» — «А нам всего-то один и нужен», — сказал горбоносый. «А если их всего девятьсот?» — «Согласны на девять десятых».

Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. «Девять часов, — сказал горбоносый. — Где вы собираетесь ночевать?» — «В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают?» — «Магазины у нас уже закрыты», — сказал горбоносый. «Можно в общежитии, — сказал бородатый. — У меня в комнате свободная койка». — «К общежитию не подъедешь», — сказал горбоносый задумчиво. «Да, пожалуй», — сказал бородатый и почему-то засмеялся. «Машину можно поставить возле милиции», — сказал горбоносый. «Да ерунда это, — сказал бородатый. — Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитие-то пройдет?» — «Да-да, черт, — сказал горбоносый. — Действительно, день не поработаешь — забываешь про все эти штуки». — «А может быть, трансгрессировать его?» — «Ну-ну, — сказал горбоносый. — Это тебе не диван. Ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже...»

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Переночую в машине, не первый раз.

Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке.

— Слушай, — сказал горбоносый, — Хо-хо! Изнакурнож!

— Правильно! — Воскликнул бородатый. — На лукоморье его!

— Ей-богу, я переночую в машине, — сказал я.

— Вы переночуете в доме, — сказал горбоносый, — на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить...

— Не полтинник же вам совать, — сказал бородатый.

Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабазы». Улица была прямая и широкая и называлась проспектом мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками.

— Следующий переулок направо, — сказал горбоносый.

Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький «запорожец». Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно: «Ул. Лукоморье». Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты.

— Стоп, — сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. — Теперь так, — сказал он, потирая нос. — Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою.

— Право, не стоит, — сказал я в последний раз.

— Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке.

Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами:

НИИЧАВО
Изба на куриных ногах
Памятник Соловецкой старины

На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка: «Ул. Лукоморье, д. №13, Н.К. Горыныч», а под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось:

КОТ НЕ РАБОТАЕТ
Администрация

— Какой кот? — Спросил я. — Комитет оборонной техники? Бородатый хихикнул. — Вы, главное, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке.

Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский — я таких никогда не видел — черно-серый, разводами кот. Усевшись, он сыто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис», — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос горбоносого произнес:

— Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить.

Завизжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо горбоносого.

— Благодетель! — Позвал он. — Заезжайте!

Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом.

Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак.

— Вот вы и дома, — сказал он.

Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота, я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать.

— А вот и хозяйка! — Вскричал бородатый. — По здорову ли, бабушка Наина свет Киевна!

Хозяйке было, наверное, за сто. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое; из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здравствуй, здравствуй, внучек, — произнесла она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!. .

Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями атомиума и с надписями на разных языках: «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье.

— Таким вот образом, Наина Киевна! — Сказал горбоносый, подходя и обтирая с ладоней ржавчину. — Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить... М-м-м...

— А не надо, — сказала старуха, пристально меня рассматривая. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гхм! — Громко сказал горбоносый, и бабка осеклась. Воцарилось неловкое молчание.

— Можно звать просто Сашей... — Выдавил я из себя заранее приготовленную фразу.

— И где же я его положу? — Осведомилась бабка.

— В запаснике, конечно, — несколько раздраженно сказал горбоносый.

— А отвечать кто будет?

— Наина Киевна!.. — Раскатами провинциального трагика взревел горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят: «Ведь мы же договорились!..» — «...А ежели он что-нибудь стибрит?..» — «Да тише вы! Это же программист, понимаете? Комсомолец! Ученый!..» — «А ежели он цыкать будет?..»

Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал.

— Неловко как-то, — сказал я.

— Не беспокойтесь, все будет отлично...

Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала: «А диван-то, диван!..» Я вздрогнул и сказал:

— Знаете, я, пожалуй, поеду, а?

— Не может быть и речи! — Решительно сказал Володя. — Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных.

— Я заплачу, — сказал я. Теперь мне очень хотелось уехать: терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий.

Володя замотал головой.

— Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке. Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал:

— Ну, все устроилось. Пошли.

— Слушайте, неудобно как-то, — сказал я. — Она в конце концов не обязана...

Но мы уже шли к дому.

— Обязана, обязана, — приговаривал Роман.

Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила:

— А расписочку чтобы сейчас же!.. Так, мол, и так: принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала вышеуказанное нижеподписавшемуся...

Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом:

— Располагайтесь и будьте как дома.

Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась:

— А зубом они не цыкают?

Роман, не оборачиваясь, рявкнул:

— Не цыкают! Говорят вам — зубов нет.

— Тогда пойдем расписочку напишем...

Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом — колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, на другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью (ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки). В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми половиками.

За стеной бубнили в два голоса: старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. «Скатерть, инвентарный номер двести сорок пять...» — «Вы еще каждую половицу запишите!..» — «Стол обеденный...» — «Печь вы тоже запишете?..» — «Порядок нужен... Диван...»

Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб, больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая, а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «И еще дуб запишите!» — Сказал за стеной Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга, я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, что спина у меня болит, а в голове все путается, что плевать мне в конце концов на эту нудную старуху, и скорее бы все кончилось и можно было бы лечь и заснуть...

— Ну вот, — сказал Роман, появляясь на пороге. — Формальности окончены. — Он помотал рукой с растопыренными пальцами, измазанными в чернилах. — Наши пальчики устали: мы писали, мы писали... Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?

— Жду, — вяло ответил я.

— Где?

— Здесь. И около почтамта.

— Завтра вы, наверное, не уедете?

— Завтра вряд ли... Скорее всего — послезавтра.

— Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди, — он улыбнулся, махнул рукой и вышел. Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела.

— Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь, — сказала она с беспокойством.

— Не стану я цыкать, — сказал я утомленно, — я спать стану.

— И ложись, и спи... Денежки только вот заплати и спи... Я полез в задний карман за бумажником. — Сколько с меня? Старуха подняла глаза к потолку. — Рубль положим за помещение... Полтинничек за постельное белье — мое оно, не казенное. За две ночи выходит три рубли... А сколько от щедрот накинешь — за беспокойство, значит, — я уж и не знаю...

Я протянул ей пятерку.

— От щедрот пока рубль, — сказал я. — А там видно будет. Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медяков.

— Вот тебе и сдача, батюшка, — сказала она. — Ровно рублик, можешь не пересчитывать.

— Не буду пересчитывать, — сказал я. — Как насчет белья?

— Сейчас постелю. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю. Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце, наконец, село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамеечку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тебя...» — Сказал я и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дому вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату.

Вредная бабка постелила мне на полу. Ну, уж нет, подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный: крупная сухая рыбья чешуя. Колко спать будет, подумал я, повалился на подушку и сразу уснул.

...Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки.

А. Уэда

Глава 2

Я проснулся посреди ночи оттого, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение.

— Не хрипи, — шептал раздраженный. — Ты можешь не хрипеть?

— Могу, — отозвался сдавленный и заперхал.

— Да тише ты... — Прошипел раздраженный.

— Хрипунец, — объяснил сдавленный. — Утренний кашель курильщика... — Он снова заперхал.

— Удались отсюда, — сказал раздраженный.

— Да все равно он спит...

— Кто он такой? Откуда свалился?

— А я почему знаю?

— Вот досада... Ну просто феноменально не везет.

Опять соседям не спится, подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата физика, которые обожают работать ночью. К двум часам пополуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стуча мебелью и переругиваясь.

Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось, и стало тихо.

— Подушку верните, — сказал я, — и убирайтесь вон. Сигареты на столе.

Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно храпела старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшее с вешалки. Бабка голову оторвет, подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть. Я замер. Потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. В суп тебя, подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать, — отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок. — Плескаться больше не будешь сегодня?» — «Холодно что-то. Давай баиньки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. Утром встану пораньше и все поправлю как следует...

Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется — хочется есть. Ай-яй-яй, подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял.

Вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики; обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на бэсме... Я вспомнил нашу бэсм. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» — «У меня с сыром и колбасой». С польской полукопченной, кружочками. «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты, с чесночком, домашние. И соленый огурчик». Нет, два огурчика... Четыре котлеты и для ровного счета четыре крепких соленых огурчика. И четыре куска хлеба с маслом...

Я откинул одеяло и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для валькиной мамы, которая живет в лежневе. Как это там... Соус пикан. Полстакана уксусу, две луковицы... И перчик. Подается к мясным блюдам... Как сейчас помню: к маленьким бифштексам. Вот подлость, подумал я, ведь не просто к бифштексам, а к ма-а-аленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло ма-а-аленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло: «Подавались ему обычные в трактирах блюда, как то: кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый (я глотнул) и вечный слоеный сладкий пирожок...» Отвлечься бы, подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей толстой, «хмурое утро». Я открыл наугад. «Махно, сломав сардиночный нож, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами (плохо дело, подумал я), французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло по комнате». Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах: должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не попробовал омаров. Или, скажем, устриц. У диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом... Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пикан. Большие и средние бифштексы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом... Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом.

Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чемто и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила:

— Откушай-ко, батюшка, Александр Иванович. Откушай, чем бог послал, со мной переслал...

— Что вы, что вы, Наина Киевна, — забормотал я, — зачем же было так беспокоить себя...

Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала:

— Кушай, батюшка, кушай на здоровьице...

Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом.

— Наина Киевна, — сказал я истово, — вы меня спасли от голодной смерти.

— Поел? — Сказала Наина Киевна как-то неприветливо.

— Великолепно поел. Огромное вам спасибо! Вы себе представить не можете...

— Чего уж тут не представить, — перебила она уже совершенно раздраженно. — Поел, говорю? Ну и давай сюда тарелку... Тарелку, говорю, давай!

— По... Пожалуйста, — проговорил я.

— «Пожалуйста, пожалуйста»... Корми тут вас за пожалуйста...

— Я могу заплатить, — сказал я, начиная сердиться.

— «Заплатить, заплатить»... — Она пошла к двери. — А ежели за это и не платят вовсе? И нечего врать было...

— То есть как это — врать?

— А так вот и врать! Сам говорил, что цыкать не будешь...

— Она замолчала и скрылась за дверью.

Что это она? — Подумал я. Странная какая-то бабка... Может быть, она вешалку заметила? Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, поваляюся, ивашкиного мяса поевши...» Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены.

Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал вполголоса:

— Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки...

Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно:

— Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка; но когда пьешь его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени неосмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели... Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть.

— Тинктура экс витро антимонии, — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул.

— Магифтериум антимон ангелий салаэ. Бафилии олеум витри антимонии алекситериум антимониалэ! — Послышалось явственное хихиканье. — Вот ведь бред какой!— Сказал голос и продолжал с завыванием: — вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более Солнца, но не попусти закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть «дух или нравственные мысли славнаго юнга, извлеченныя из нощных его размышлений». Продается в санкт-петербурге и в риге в книжных лавках свешникова по два рубля в папке. — Кто-то всхлипнул. — Тоже бредятина, — сказал голос и произнес с выражением:

Чины, краса, богатства,
Сей жизни все приятства,
Летят, слабеют, исчезают,
О тлен, и щастье ложно!
Заразы сердце угрызают,
А славы удержать не можно...

Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.

— А теперь, — сказал голос, — следующее. «Все — единое я, это я — мировое я. Единение с неведением, происходящее от затмения света, я исчезает с развитием духовности».

— А эта бредятина откуда? — Спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.

— Изречения из «Упанишад», — ответил с готовностью голос.

— А что такое «Упанишады»? — Я уже не был уверен, что сплю.

— Не знаю, — сказал голос.

Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было.

— В чем дело? — Спросил голос. — Есть вопросы?

— Кто это говорит? — Спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В.В. Битнера «Верить или не верить?». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы — в отличие от галлюцинаций — раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение — заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул.

За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. Всетаки сплю, успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождения по мукам», теперь на обложке я прочитал: «П.И. Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал «Стих №2»:

В кругу облаков высоко
Чернокрылый воробей
Трепеща и одиноко
Парит быстро над землей.
Он летит ночной порой,
Лунным светом освещенный,
И, ничем не удрученный,
Все он видит под собой.
Гордый, хищный, разъяренный
И летая, словно тень,
Глаза светятся как день.

Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее: «Ко-о... Ко-о... Ко-о...» Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался.

— Ну-с, так... — Сказал хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь, по имени... Мнэ-э... Ну, в конце в концов неважно. Скажем, мнэ-э... Полуэкт... У него было три сына-царевича. Первый... Мнэ-э... Третий был дурак, а вот первый?..

Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиною к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул: «Мнэ-э-э...» Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь, как доцент Дубино-Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба.

— Хорошо... — Говорил кот сквозь зубы. — Были-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын... Мнэ-э... Дурак, естественно...

Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб.

— Отчаянное положение, — проговорил он. — Ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец на ужин...» Откуда бы это? А Иван, сами понимаете — дурак, отвечает: «Эх ты, поганое чудище, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!» Потом, естественно — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и привозит, кретин, домой матери... Каков подарочек! — Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. — Есть еще такая болезнь — склероз, — сообщил он.

Он снова вздохнул, повернул обратно к дубу и запел: «Кря-кря, мои деточки! Кря-кря, голубяточки! Я... Мнэ-э... Я слезой вас отпаивала. . Вернее — выпаивала...» Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал: «Сладок кус не доедала!...» В лапах у него вдруг оказались массивные гусли — я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку:

Дасс им таннвальд финстер ист,
Дасс махт дас хольтс,
Дасс... Мнэ-э... Майн шатц... Или катц?..

Он замолк и некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел:

Ой, бував я в тим садочку,
Та скажу вам всю правдочку:
Ото так
Копают мак.

Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом.

— Труд, труд и труд, — сказал он. — Только труд! Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча:

— Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной, по имени... — Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... Кто-то ибн чей-то... Н-ну хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн... Мнэ-э... Полуэктович... Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним, начнем другую...

Я лежал на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки — словом, мучается несказанно. Диапазон его знаний был грандиозен. Ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше чем наполовину, но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство, несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями, он шипел и плевался, и глаза его при этом горели как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек» в переводе Маршака, да и то с некоторыми купюрами. Постепенно — видимо, от утомления — речь его обретала все более явственный кошачий акцент. «А в поли, поли, — пел он, — сам плужок ходэ, а... Мнэ-э... А... Мнэ-а-а-!.. А за тым плужком сам... Господь ходэ... Или бродэ?..» В конце концов он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве.

Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было «Творчество душевнобольных», я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал и положил на подоконник «Раскрытие преступлений» А. Свенсона и О. Венделя. Я тупо раскрыл ее, пробежал наудачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка.

Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.

Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки.

Г. Дж. Уэллс

Глава 3

Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно (дуб был на месте), посмотрел на вешалку (вешалка тоже была на месте). Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь (щеколда была на месте) и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой — очень современный аппарат белой пластмассы, такие я видел в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку.

— Алло...

— Это кто?— Спросил пронзительный женский голос.

— А кого вам надо?

— Это Изнакурнож?

— Что?

— Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит?

— Да, — сказал я. — Изба. Кого вам нужно?

— О дьявол, — сказал женский голос. — Примите телефонограмму.

— Давайте.

— Записывайте.

— Одну минутку, — сказал я. — Возьму карандаш и бумагу.

— О дьявол, — сказал женский голос.

Я принес записную книжку и цанговый карандаш.

— Слушаю вас.

— Телефонограмма номер двести шесть, — сказал женский голос. — Гражданке Горыныч Наине Киевне...

— Не так быстро... Киевне... Дальше?

— «Настоящим... предлагается вам... прибыть сегодня... двадцать седьмого июля... сего года... в полночь... на ежегодный республиканский слет...» Записали?

— Записал.

— «Первая встреча... состоится... на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом... за свой счет. Подпись... Начальник канцелярии... Ха... Эм... Вий».

— Кто?

— Вий! Ха эм Вий.

— Не понимаю.

— Вий! Хрон Монадович! Вы что, начальника канцелярии не знаете?

— Не знаю, — сказал я. — Говорите по буквам.

— Дьявольщина! Хорошо, по буквам: вервольф-инкуб-ибикус краткий... Записали?

— Кажется, записал, — сказал я. — Получилось — Вий.

— Кто?

— Вий!

— У вас что, полипы? Не понимаю!

— Владимир! Иван! Иван краткий!

— Так. Повторите телефонограмму. Я повторил.

— Правильно. Передала Онучкина. Кто принял?

— Привалов.

— С приветом, Привалов! Давно служишь?

— Собачки служат, — сердито сказал я. — Я работаю.

— Ну-ну, работай. На слете встретимся. Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя я представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено.

Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым, о подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно, раздражающе нелепым. Вместо того чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них.

Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать.

Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории... Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем (она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь «Последним изгнанником» Олдриджа), с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям... Хотя, с другой стороны, чешуя?..

Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко. Где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину, раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой «москвич». У машины был усталый, запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся о него вдребезги мошкарой. Надо будет воды долить в радиатор, подумал я. И вообще...

Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.

— Опять на рынок поволочешь? — Сильно окая, сказала щука. Я ошарашенно молчал. — Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать — тащит! Я ведь не молодая уже, постарше тебя буду... Жабры тоже не в порядке...

Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти.

— И воздух мне вреден, — продолжала она. — Вот подохну, что будешь делать? Все скупость твоя бабья да дурья... Все копишь, а для чего копишь — сама не знаешь... На последней реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками...

— Видите ли, — сказал я, немного оправившись.

— Ой, кто это?— Испугалась щука.

— Я... Я здесь случайно... Я намеревался слегка помыться.

— Помыться! А я думала, опять старуха. Не вижу я: старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потеряла, не найду... А кто ж ты будешь?

— Турист, — коротко сказал я.

— Ах, турист... А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает! Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю: так и так, отпусти меня к малым детушкам — хотя какие у меня там малые детушки — не детушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только «По щучьему велению, по моему, мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности... Вот поплаваешь в реке, поплаваешь — холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут... — Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. — Ну что просить-то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то, транзисторы... Один совсем обалдел: «Выполни, — говорит, — за меня годовой план на лесопилке». Года мои не те — дрова пилить...

— Ага, — сказал я. — А телевизор вы, значит, все-таки можете?

— Нет, — честно призналась щука. — Телевизор не могу. И этот... Комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку... А?

Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки «москвича» погасла.

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Мне ничего в общем не надо. Я вас сейчас отпущу.

— И хорошо, — спокойно сказала щука. — Люблю таких людей. Давеча вот тоже... Купил меня на рынке какой-то, пообещала я ему царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну сослепу и въехала в сети. Ташшат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. Ан нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во! — Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Солове-реке 1854 года. Доставить в Е.И.В. Академию наук, СПБ». — Старухе не говори, — предупредила щука. — С плавником оторвет. Жадная она, скупая.

«Что бы у нее спросить?» — Лихорадочно думал я.

— Как вы делаете ваши чудеса?

— Какие такие чудеса?

— Ну... Исполнение желаний...

— Ах, это? Как делаю... Обучена сызмальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю... Золотая рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь.

Мне показалось, что щука вздохнула.

— От старости? — Спросил я.

— Какое там от старости! Молодая была, крепкая... Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой... Вот ведь как оно бывает. — Она помолчала. — Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет...

— Конечно, конечно, — сказал я, встрепенувшись. — Вас как — бросить или в бадье?. .

— Бросай, служивый, бросай.

Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку — было в ней килограммов восемь. Щука бормотала: «Ну, а ежели там скатерть-самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду... За мной не пропадет...» — «До свидания», — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск.

Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота.

Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой гэдээровской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных «молниями», брякали старухины медяки. Я размышлял. Тощие брошюрки общества «Знание» приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных. Даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь — щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его, прадеда, точки зрения, говорящий кот — вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция неясная совершенно, и, когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества «Знание», Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи... У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс: зеленый свет — банан, красный свет — электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принялся, визжа и рыча, плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот — одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квазиобезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами». Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но, с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное — думать. Как Паскаль: «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали».

Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним, шагах в десяти, с натужным ревом медленно полз большой белый МАЗ с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «Огнеопасно», справа и слева от нее так же медленно катились красные пожарные «газики», ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки. Они пронзительно вопили: «Тилилитилили, а дракона повезли!» Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений.

— Повезли родимого, — произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас.

Я обернулся. Позади стояла, пригорюнившись, Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку.

— Повезли, — повторила она. — Каждую пятницу возят…

— Куда? — Спросил я.

— На полигон, батюшка. Все экспериментируют… Делать им больше нечего.

— А кого повезли, Наина Киевна?

— То есть как это — кого? Сам не видишь, что ли?..

Она повернулась и пошла прочь, но я догнал ее.

— Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали.

— Это от кого же?

— От ха эм Вия.

— А насчет чего?

— У вас слет какой-то сегодня, — сказал я, пристально глядя на нее.

— На Лысой горе. Форма одежды — парадная.

Старуха явно обрадовалась.

— Вправду? — Сказала она. — Вот хорошо-то!. . А где телефонограмма?

— В прихожей на телефоне.

— А насчет членских взносов там ничего не говорится? — Спросила она, понизив голос.

— В каком смысле?

— Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот… — Она замолчала.

— Нет, — сказал я. — Ничего такого не говорилось.

— Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?

— Дайте я вам кошелку поднесу, — предложил я.

Старуха отпрянула.

— Это тебе зачем? — Спросила она подозрительно. — Ты это оставь — не люблю… Кошелку ему!.. Молодой, да, видно, из ранних…

Не люблю старух, подумал я.

— Так как же с транспортом? — Повторила она.

— За свой счет, — сказал я злорадно.

— Ах, скопидомы! — Застонала старуха. — Метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на Лысую гору за свой счет! Счет-то не малый, батюшка, да пока такси ждет…

Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги.

На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек — играли, по-моему, в чижа. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недоброе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной послышался сдавленный восторженный возглас: «Стиляга!» Я ускорил шаг. «Стиляга!» — Завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. Позади визжали: «Стиля-ага! Тонконогий! Папина «Победа»!..» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом, походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось!.. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишек не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы-редуты кончились, пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино.

В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух— и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска Почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтамт я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на курногах. Затем я решил позавтракать.

Обойдя площадь, я обнаружил: кинотеатр, где шла «Козара»; книжный магазин, закрытый на переучет; горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных «газиков»; гостиницу «Студеное море» — как обычно, без свободных мест; два киоска с газированной водой и мороженым; магазин (промтоварный) №2 и магазин (хозтоваров) №18; столовую №11, открывающуюся с двенадцати часов, и буфет №3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?» — Осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых», — ответил я. «Ах, у знакомых...» — Сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся.

Рядом с трехэтажной громадой Солрыбснабпромпотребсоюза фцу я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную №16/27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных: что под Коробцом завалился, наконец, мостик и ехать теперь приходится вброд; что пост ГАИ уже неделю как с пятнадцатого километра убрали; что «искра — зверь, слона убьет, а ни шиша не схватывает...». Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно — позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом.

Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три стакана чаю и три бутерброда с балыком, расплатился кучей старухиных медяков («На паперти стоял...» — Проворчала буфетчица), устроился в укромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми, прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, все повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке, и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, и чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана.

За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес: «... А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта Изнакурнож...» — И я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми: «... Никаких тезисов... Только диван...», «... Такому волосатому?..», «... Диван... Шестнадцатая степень...», «... При трансгрессии только четырнадцать порядков...», «... Легче смоделировать транслятор...», «... Мало ли кто хихикает!..», «... Бритву подарю...», «... Не можем без дивана...» Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся, но они уже шли к выходу — два здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно, они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Диван их, видите ли, волнует, думал я. Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут... Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван, но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван. Удобный. Только странная действительность на нем снится.

Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием начистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой «москвич» и необходимость делать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всего-навсего ежедневный уход, всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением, каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что то есть не что иное, как техническое обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи... Короче говоря, мне не очень хотелось домой.

Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене!

Э. По

Глава 4

Я купил позавчерашнюю «Правду», выпил газированной воды и устроился на скамье в садике, в тени Доски Почета. Было 11 часов. Я внимательно просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я прочитал статью о гидропонике, фельетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего-навсего 22 минуты. Не сходить ли в кино, подумал я. Но «Козару» я уже видел — один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. Из всей старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я, выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел куда глаза глядят — в неширокую улицу между магазином №2 и столовой №11.

Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув на улицу локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо, у поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки, дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем.

Интересно, куда девался тот грузовик? — Подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень старинный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу потому, что вывеска, которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано: «АН СССР НИИЧАВО». Я отошел на середину улицы: да, два этажа по десяти окон и ни одной двери. А справа и слева, вплотную, лабазы. НИИЧАВО, подумал я. Научно-исследовательский институт... Чаво? В смысле — чего? Чрезвычайно автоматизированной вооруженной охраны? Черных ассоциаций восточной океании? Изба на курногах, подумал я, — музей этого самого НИИЧАВО. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те, в чайной, — тоже... С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь.

Все мы наивные материалисты, думал я. И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все немедленно было объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного, и тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы метр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через сорок пять минут после зарегистрированной остановки сердца? В штыки, наверное, принял. Так сказать, в багинеты. Объявил бы это обскурантизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас, только я привычнее. А ему пришлось бы либо счесть это воскрешение жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу... Но мы-то дети другого века. Мы всякое повидали: и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки; и искусственную почку величиной со шкаф; и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами; и людей, которые могут небрежно заметить: «Это было уже после того, как я скончался в первый раз...» Да, в наше время у Монтескье было бы немного шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и ничего! Правда, иногда бывает трудно — когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необозримых материков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные, первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы давно уже ждем этих животных, мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, и психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным, — какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь, или живая планета... Или, скажем, изба на куриных ногах... А ведь прав был горбоносый Роман: здесь у них очень, очень и очень интересно...

Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационал-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, на нем было написано «5 копеек 1961», и цифра «6» была замята неглубокой выщерблинкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне — будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло.

Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак (он падал на ладонь все время «решкой») и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман.

Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там — влажный, 1961 года, с выщерблинкой на цифре «6». Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать.

Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на «молнию», он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле (в моем случае он обнаружился в ботинке). Исчезновение пятака из тарелочки с медью на прилавке заметить не удается: среди прочей меди пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит.

Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известной любителям научной фантастики также под псевдонимами: гиперпереход, репагулярный скачок, феномен тарантоги... Открывающиеся перспективы были ослепительны.

У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу: «Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода». Однако эксперимент был прерван в самом начале.

Когда я приблизился к продавщице Мане, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта.

— Так, — сказал он профессиональным голосом.

Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недоброе.

— Попрошу документики, гражданин, — сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня.

— А в чем дело? — Спросил я, доставая паспорт.

— И пятак попрошу, — сказал милиционер, принимая паспорт. Я молча отдал ему пятак. Маня смотрела на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением: «Ага...», Раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет.

— Придется пройти, — сказал, наконец, милиционер.

Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие.

В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес: «Сдайте мелочь», — и тоже углубился в изучение паспорта. Я выгреб из кармана медяки. «Пересчитайте, Ковалев», — сказал лейтенант и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза.

— Много накупили? — Спросил он.

— Много, — ответил я.

— Тоже сдайте, — сказал лейтенант.

Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней «Правды», три номера местной газеты «Рыбак», два номера «Литературной газеты», восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ершик для чистки примуса.

— Воду сдать не могу, — сказал я сухо. — Пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа.

Я начинал понимать, в чем дело, и мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться.

— Семьдесят четыре копейки, товарищ лейтенант, — доложил юный Ковалев.

Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков.

— Развлекались или как? — Спросил он меня.

— Или как, — сказал я мрачно.

— Неосторожно, — сказал лейтенант. — Неосторожно, гражданин. Расскажите.

Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на «запорожец». Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся.

— А почему бы и не рассматривать? — Осведомился он. — Были случаи, когда накапливали.

Я пожал плечами.

— Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову... То есть что я говорю — не могла бы, она действительно не приходила!..

Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать.

— Даже как-то странно предположить... — Сказал я растерянно. — Совершенно бредовая затея... Копить по копейке... — Я снова пожал плечами. — Тогда уж лучше, как говорится, на паперти стоять...

— С нищенством мы боремся, — значительно сказал лейтенант.

— Ну правильно, ну естественно... Я только не понимаю, при чем тут я, и... —

...Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами, и дал себе слово впредь этого не делать.

Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак.

— Придется составить протокол, — сказал он наконец. Я пожал плечами.

— Пожалуйста, конечно... Хотя... — Я не знал, что, собственно, «хотя».

Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью уголовного кодекса подходят мои действия, и тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать.

Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривая плакаты, развешанные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. В чем, собственно, суть? — Думал я. Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективая. И факт остается фактом: вся эта медь в количестве семидесяти четырех копеек юридически является результатом хищения, произведенного с применением технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак.

— Прочтите и подпишите, — сказал лейтенант.

Я прочел. Из протокола явствовало, что я, нижеподписавшийся Привалов А.И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею; что я, нижеподписавшийся Привалов А.И., утверждал, будто действия мои производил с целью научного эксперимента, без каких-либо корыстных намерений; что я готов возместить причиненные государству убытки в размере одного рубля пятидесяти пяти копеек; что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года, передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергиенко У.У. и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался.

Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медяки, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость ирисок и примусного ершика, выписал квитанцию и отдал ее мне вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ершик, он сказал:

— А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили. Итого с вас восемьдесят одна копейка.

С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт.

— Можете идти, гражданин Привалов, — сказал он. — И впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец?

— Завтра уеду, — сказал я.

— Вот до завтра и будьте осторожнее.

— Ох, постараюсь, — сказал я, пряча паспорт. Затем повинуясь импульсу, спросил, понизив голос: — а скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?

Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги.

— Я здесь давно, — сказал он рассеянно. — Привык.

— А вы сами-то верите в привидения? — Спросил лектора один из слушателей.
— Конечно, нет, — ответил лектор и медленно растаял в воздухе.

Правдивая история

Глава 5

До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я направился домой на лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко. С запада ползла огромная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять, — скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер. — Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся...» Ехать на Лысую гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой горы было девяносто верст в одну сторону, а когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился, — дорога гладкая, а в случае чего она, бабка, будет сама машину выталкивать. («Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая».) После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнес вполголоса, но явственно: «Не советую, гражданин... Мнэ-э... Не советую. Съедят», — после чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее пятьдесят рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением.

Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке, пообедал в столовой №11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся под проливным дождиком.

Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождем. Стало темно.

Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так, или влияла погода, но она как была, так и оставалась «Практическими занятиями по синтаксису и пунктуации» Ф.Ф. Кузьмина, сколько я ни ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытал счастья с зеркалом. Но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать.

От скуки и шума дождя я уже начал было дремать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку.

— Алло...

В трубке молчало и потрескивало.

— Алло, — сказал я и подул в трубку. — Нажмите кнопку. Ответа не было. — Постучите по аппарату, — посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал: — перезвоните с другого автомата.

Тогда в трубке грубо осведомились:

— Это Александр?

— Да. — Я был удивлен.

— Ты почему не отвечаешь?

— Я отвечаю. Кто это?

— Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил.

— Какому мастеру?

— Ну, кто там у тебя сегодня?

— Не знаю...

— Что значит — не знаю? Это Александр?

— Слушайте, гражданин, — сказал я. — По какому номеру вы звоните?

— По семьдесят второму... Это семьдесят второй?

Я не знал.

— По-видимому, нет, — сказал я.

— Что же вы говорите, что вы Александр?

— Я в самом деле Александр!

— Тьфу!.. Это комбинат?

— Нет, — сказал я. — Это музей.

— А... Тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать, не можете...

Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей: в мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. Скучно, подумал я. Одиноко. И лампочка тусклая, пыльная... Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге.

Дивана не было.

Все остальное было совершенно по-прежнему: стол, и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой.

— Только что здесь был диван, — вслух сказал я. — Я на нем лежал.

Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сени и открыл дверь.

Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты, с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес:

— Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора?

— Конечно, — сказал я растерянно. — Заходите...

Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал, — наверное, потому, что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу.

— Извините, — пролепетал я, — может быть, здесь... А то у меня беспорядок. И сесть негде...

Незнакомец резко вскинул голову.

— Как — негде? — Сказал он негромко. — А диван?

С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — Спросил я почему-то шепотом. Незнакомец опустил веки. — Ах, вот как? — Медленно произнес он. — Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините...

Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.

— Куда вы? — Закричал я. — Вы не туда!

Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал: «Ах, это безразлично», — и скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь, затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. Причем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет. Была скатерть-самобранка. Были: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце. А чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат, диван — это нечто прочное, очень обыкновенное... В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном?..

Вернувшись в комнату, я сразу увидел маленького человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши.

— Здравствуйте, — сказал я утомленно.

Маленький человечек страдальчески скривил длинные губы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Извините, пожалуйста, занесло меня сюда — сам не понимаю как... Я насчет дивана.

— Насчет дивана вы опоздали, — сказал я, садясь к столу.

— Вижу, — тихо сказал человечек и неуклюже заворочался. Посыпалась известка.

Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький человечек неуверенно заглядывал вниз.

— Вам помочь? — Спросил я, делая движение.

— Нет, спасибо, — сказал человечек уныло. — Я лучше сам... Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня екнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо.

— Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Гонзасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович.

— А что вы кончали? — Осведомился я, закуривая вторую сигарету. Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно:

— Раньше я левитировал, как Зекс. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно... Но если нет таланта? Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, а таланта нет! У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жиан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Симеонович... Никаких следов растительности! — Он торжествующе посмотрел на меня. — Ни-ка-ких! Гладкая кожа, изящество, стройность...

— Позвольте, — сказал я. — Вы сказали — Джузеппе Бальзамо... Но это то же самое, что граф Калиостро! А по Толстому, граф был жирен и очень неопрятен на вид...

Маленький человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся.

— Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович, — сказал он. — Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это... Как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... Побыстрее, посмешнее — тяп-ляп, и так сойдет... Да-с... Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко.

Мне стало неловко.

— Да, — сказал я. — Я, конечно, не специалист. Но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?

Маленький человечек вздрогнул.

— Непростительная самонадеянность, — сказал он громко и поднялся. — Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты ... А тут еще наглые мальчишки... — Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. — Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил... Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю. — Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх. — Старый я, Александр Иванович, — сказал он, тяжело вздохнув. — Старенький...

— А может быть, вам было бы удобнее... Через... Э-э... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.

— И-и, батенька, так это же был Кристобаль Хунта! Что ему — просочиться через канализацию на десяток лье... — Маленький человечек горестно махнул рукой. — Мы попроще... Диван он с собой взял или трансгрессировал?

— Н-не знаю, — сказал я. — Дело-то в том, что он тоже опоздал.

Маленький человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе. —

Опоздал? Он? Невероятно... Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите великодушно. Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее — какая-то драма. Может быть, даже драма идей. А ведь пожалуй, придут еще... Опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник?

Веник стоял рядом с кадкой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я пребольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел.

— Однако, — подумал я вслух. — Не просочиться бы в канализацию!.. Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клекот и пахнуло ветром. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловешим загнутым клювом.

— Здравствуйте, — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий. Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похожим на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндрик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату.

Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы: было двадцать минут первого. Я немного постоял над цилиндриком, размышляя над законом сохранения энергии, и заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф (не обязательно данный) исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. Лучше его не трогать, подумал я. Лучше его чем-нибудь прикрыть и пусть стоит. Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили.

— Напрасно вы это сделали, Александр Иванович, — сказал приятный мужской голос.

— Что именно? — Спросил я, оглянувшись на зеркало.

— Я имею в виду умклайдет...

Говорило не зеркало. Говорил кто-то другой.

— Не понимаю, о чем речь, — сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение.

— Я говорю про умклайдет, — произнес голос. — Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или как вы его называете — волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения.

— Потому я и накрыл... Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Благодарю вас, — сказал голос.

Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову набок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью:

— Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?

— Отнюдь, — сказал я, поднимаясь. — Прошу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?

— Благодарю вас, — сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины. — Что касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал.

Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался.

— Вы вероятно, насчет дивана? — Сказал я. — Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, и я даже не знаю...

Незнакомец всплеснул руками.

— Какие пустяки! — Сказал он. — Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит... Посудите сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического — я не боюсь этого слова, — именно мифического белого тезиса... Каждый трезвомыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о белом тезисе... Нет, я и говорить не желаю об этом диване.

— Как вам будет благоугодно, — сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. — Поговорим о чем нибудь другом.

— Суеверия... Предрассудки... — Рассеянно проговорил незнакомец. — Леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть... — Он прервал самого себя. — Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически не прозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...

Я поднял руки.

— Ради бога, все, что вам угодно! Убирайте ковшик... Убирайте даже этот самый... Ум... Ум... Эту волшебную палочку... — Тут я остановился, с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась.

— Так будет лучше, уверяю вас, — сказал незнакомец. — Что же касается вашего великодушного предложения убрать умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно... Условности так сильны! Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к умклайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел... Я думаю, вы чувствуете... Э-э... Некоторое амбре...

— Да, — сказал я с чувством. — Воняет гадостно. Как в обезьяннике.

Мы посмотрели на орла. Гриф нахохлившись, дремал.

— Искусство управлять умклайдетом, — сказал незнакомец, — это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклайдетом занимает восемь семестров и требует основательных знаний квантовой алхимии. Как программист вы вероятно, без особого труда освоили бы умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17... Но квантовый умклайдет... Гиперполя... Трансгрессивные воплощения... Обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье... — Он виновато развел руками.

— О чем разговор! — Поспешно сказал я. — Я ведь и не претендую... Конечно же, я абсолютно не подготовлен.

Тут я спохватился и предложил ему закурить.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец. — Не употребляю, к великому моему сожалению.

Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился — не спросил, а именно осведомился:

— Не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностию нашей встречи?

Незнакомец опустил глаза.

— Боюсь показаться нескромным, — сказал он, — но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но, я думаю, даже вам, как вы ни далеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета, назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности... Не будем далеко ходить за примерами. Некто — повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более что это сотрудник, достойный всяческого уважения, а говоря об уважении, я имею в виду если не манеры, то большой талант и самоотверженность, — так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь умклайдет, и умклайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченным человек, совершенно к оным не причастный... — Он поклонился в мою сторону. — А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния... — Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем улыбнулся мне. — Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора... Впрочем, я не намерен более мешать вам, и поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться..

Он поднялся.

— Ну что вы! — Вскричал я. — Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами, у меня к вам тысяча вопросов!..

— Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович, но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть...

— Нисколько! — Горячо возразил я. — Наоборот!

— Александр Иванович, — произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. — Но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть.

И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать.

— Было исключительно приятно познакомиться с Вами, — сказал незнакомец негромко.

Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.

Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке навыпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помавал огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — Спросил я.

Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся.

— Не слышу ответа, — сказал я зло. Мне все еще очень хотелось спать.

— Тихо, ты, смертный, — сипло произнес детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндрик с пола. Голос его показался мне знакомым.

— Эй, приятель! — Сказал я угрожающе. — Положи эту штуку на место и очисти помещение.

Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинул простыню и встал.

— А ну, положи умклайдет! — Сказал я в полный голос. Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела.

— Детка, — сказал детина, — ночью надо спать. Лучше ляг сам. Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже. — Может, выйдем во двор? — Деловито предложил я, подтягивая трусы. Кто-то вдруг произнес с выражением: — «Устремив свои мысли на высшее «я», свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!» Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул. — «Бхагават-гита»! — Сказал голос.

— Песнь третья, стих тридцатый. — Это зеркало, — сказал я машинально. — Сам знаю, — проворчал детина. — Положи умклайдет, — потребовал я. — Чего ты орешь, как больной слон? — Сказал парень. — Твой он, что ли?

— А может быть, твой?

— Да, мой!

Тут меня осенило.

— Значит, диван тоже ты уволок?

— Не суйся не в свои дела, — посоветовал парень.

— Отдай диван, — сказал я, — на него расписка написана..

— Пошел к черту, — сказал детина, озираясь.

И тут в комнате появились еще двое: тощий и толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников синг-синга.

— Корнеев! — Завопил толстый. — Так это вы воруете диван?! Какое безобразие!

— Идите вы все... — Сказал детина.

— Вы грубиян! — Закричал толстый. — Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!

— Ну и подавайте, — мрачно сказал Корнеев. — Займитесь любимым делом.

— Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь умклайдет! Молодой человек мог пострадать!

— Я уже пострадал, — вмешался я. — Дивана нет, сплю как собака, каждую ночь разговоры... Орел этот вонючий...

Толстый немедленно повернулся ко мне.

— Неслыханное нарушение дисциплины, — заявил он. — Вы должны жаловаться... А вам должно быть стыдно! — Он снова повернулся к Корнееву.

Корнеев угрюмо запихивал умклайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе:

— Вы сняли тезис, Корнеев?

Детина мрачно ухмыльнулся.

— Да нет там никакого тезиса, — сказал он. — Что вы все сепетите? Не хотите, чтобы мы диван воровали — дайте нам другой транслятор...

— Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника? — Грозно осведомился тощий.

Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок.

— Вам известно постановление ученого совета? — Осведомился тощий.

— Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу, — угрюмо сказал Корнеев.

— Не разводите демагогию, — сказал тощий. — Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться.

— Не верну я диван, — сказал Корнеев. — Эксперимент закончим — вернем.

Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!.. — Визжал он. — Хулиганство!..» Гриф опять взволнованно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком: «Нет, вы вернете диван!» Тощий сказал мне:

— Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось.

Он кивнул и тоже двинулся к стене.

— Погодите! — Вскричал я. — Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!

Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало темно, в окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа, да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок.

— Прозрачное масло, находящееся в корове, — с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало — не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надежным способом.

Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. Будет мне завтра от старухи, подумал я.

— Нет, — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз, — я не член клуба, я — призрак.
— Хорошо, но это не дает вам права расхаживать по клубу.

Г. Дж. Уэллс

Глава 6

Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего: диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, не способных удивляться. Правда, я был далек от психологии «подумаешь-эканевидаль», скорее мое состояние напоминало состояние Алисы в стране чудес: я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами. Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь, зашаркали и застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!» Старуха не отозвалась, и в прихожей начали разговаривать: «Что это за дверь?.. А, понятно. А это?» — «Тут вход в музей». — «А здесь?.. Что это — все заперто, замки...» — «Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон». — «А где же знаменитый диван? В музее?» — «Нет. Тут должен быть запасник».

— Это здесь, — сказал знакомый угрюмый голос.

Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня (я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч), он приостановился и звучным голосом произнес:

— Так.

Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения», — и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал: угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласого я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйскими движениями.

— Вот этот диван? — Спросил лоснящийся мужчина.

— Это не диван, — угрюмо сказал Корнеев. — Это транслятор.

— Для меня это диван, — заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. — Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер одиннадцать двадцать три. — Он наклонился и пощупал. — Вот он у вас влажный, Корнеев, таскали под дождем. Теперь считайте: пружины проржавели, обшивка сгнила.

— Ценность данного предмета, — как мне показалось, издевательски произнес горбоносый Роман, — заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет.

— Вы это прекратите, Роман Петрович, — предложил лоснящийся с достоинством. — Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться...

— Это прибор, — сказал Корнеев безнадежно. — С ним работают...

— Этого я не знаю, — заявил лоснящийся. — Я не знаю, что это за работа с диваном.

— А мы вот знаем, — тихонько сказал Роман.

— Вы это прекратите, — сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы собственно имеете в виду?

— Я имею в виду, что это не есть диван, — сказал Роман. — Или, в доступной для вас форме, это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана.

— Я попросил бы прекратить эти намеки, — решительно сказал лоснящийся. — Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекращаю.

— Так, — звучно сказал седовласый. Сразу стало тихо. — Я беседовал с Кристобалем Хозевичем и с Федором Симеоновичем. Они полагают, что диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу Второму, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор... Кто его выписывал, вы не помните, Модест Матвеевич?

— Одну минутку, — сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку. — Одну минуточку... Транслятор двухходовой ТДХ-80е китежградского завода... По заявке товарища Бальзамо.

— Бальзамо работает на нем круглосуточно, — сказал Роман.

— И барахло этот ТДХ, — добавил Корнеев. — Избирательность на молекулярном уровне.

— Да-да, — сказал седовласый. — Я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая солективности не гладкая... Да. А этот... Э... Диван?

— Ручной труд, — быстро сказал Роман. — Безотказен. Конструкции Льва Бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал его триста лет...

— Вот! — Сказал лоснящийся Модест Матвеевич. — Вот как надо работать! Старик, а все делал сам.

Зеркало вдруг прокашлялось и сказало:

— Все оне помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в двадцать лет.

— Вот именно, — сказал Модест Матвеевич. Зеркало говорило голосом седовласого.

Седовласый досадливо поморщился.

— Не будем решать этот вопрос сейчас, — произнес он.

— А когда? — Спросил грубый Корнеев.

— В пятницу на ученом совете.

— Мы не можем разбазаривать реликвии, — вставил Модест Матвеевич.

— А мы что будем делать? — Спросил грубый Корнеев.

Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом:

> Видел я сам, как, подобравши черные платья,
> Шла босая Канидия, простоволосая, с воем,
> С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе.
> Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями
> Обе рыть и черного рвать зубами ягненка...

Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало.

— Так, — сказал седовласый. — Вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы... — По лицу его было видно, что он забыл имя-отчество Корнеева, — вы пока воздержитесь... Э... От посещения музея.

С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь.

— Добились своего, — сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича.

— Разбазаривать не дам, — коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку.

— Разбазаривать! — Сказал Корнеев. — Плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота.

— Вы это прекратите, — сказал непреклонный Модест Матвеевич. — Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия...

— Инвентарный номер одиннадцать двадцать три, — вполголоса добавил Роман.

— В таком вот аксепте, — величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня. — А вы что здесь делаете? — Осведомился он. — Почему это вы здесь спите?

— Я... — Начал я.

— Вы спали на диване, — провозгласил ледяным тоном Модест, сверля меня взглядом контрразведчика. — Вам известно, что это прибор?

— Нет, — сказал я. — То есть теперь известно, конечно.

— Модест Матвеевич! — Воскликнул горбоносый Роман. — Это же наш новый программист, Саша Привалов!

— А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?

— Он еще не зачислен, — сказал Роман, обнимая меня за талию.

— Тем более!

— Значит, пусть спит на улице? — Злобно спросил Корнеев.

— Вы это прекратите, — сказал модест. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда?

— Из Ленинграда, — сказал я мрачно.

— Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

— Пожалуйста, — сказал я, пожимая плечами.

Роман все держал меня за талию.

— Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок, но сегодня он будет ночевать у меня.

— Это другое дело. Это пожалуйста, — великодушно разрешил Модест. Он хозяйским взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком. — В таком вот аксепте, — сказал он, поправил рухлядь на вешалке и вышел.

— Д-дубина, — выдавил из себя Корнеев. — Пень. — Он сел на диван и взялся за голову. — Ну их всех к черту. Сегодня же ночью опять утащу.

— Спокойно, — ласково сказал Роман. — Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?

— Ну? — Сказал Корнеев безнадежно.

— Это же а-Янус.

Корнеев поднял голову.

— И какая разница?

— Огромная, — сказал Роман и подмигнул. — Потому что у-Янус улетел в Москву. И в частности — по поводу этого дивана. Понял, расхититель музейных ценностей?

— Слушай, ты меня спасаешь, — сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.

— Дело в том, Саша, — сказал Роман, обращаясь ко мне, — что у нас идеальный директор. Он один в двух лицах. Есть а-Янус Полуэктович и у-Янус Полуэктович. У-Янус — это крупный ученый международного класса. Что же касается а-Януса, то это довольно обыкновенный администратор.

— Близнецы? — Осторожно спросил я.

— Да нет, это один и тот же человек. Только он один в двух лицах.

— Ясно, — сказал я и стал надевать ботинки.

— Ничего, Саша, скоро все узнаешь, — сказал Роман ободряюще. Я поднял голову. — То есть? — Нам нужен программист, — проникновенно сказал Роман. — Мне очень нужен программист, — сказал Корнеев, оживляясь. — Всем нужен программист, — сказал я, возвращаясь к ботинкам. — И прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест.

— Он уже догадывается, — сказал Роман.

Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики.

— Это не наш пятак! — Кричал Модест.

— А чей же это пятак?

— Я не знаю, чей это пятак! Это не мое дело! Это ваше дело — ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант!..

— Пятак изъят у некоего гражданина Привалова, каковой проживает здесь у вас, в изнакурноже!..

— Ах, у Привалова? Я сразу подумал, что он ворюга!

Укоризнееный голос а-Януса произнес:

— Ну-ну, Модест Матвеевич! ..

— Нет, извините, Янус Полуэктович! Этого нельзя так оставить! Товарищ сержант, пройдемте!.. Он в доме... Янус Полуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил! Я докажу! Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч!

У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши.

Я исчез.

Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте, все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями.

— Это кепка-невидимка, — прошипел он. — Отойди в сторонку и помалкивай.

Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева.

— Где он? — Завопил Модест, озираясь.

— Вот, — сказал Роман, показывая на диван.

— Не беспокойтесь, стоит на месте, — добавил Корнеев.

— Я спрашиваю, где этот ваш... Программист?

— Какой программист? — Удивился Роман.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок.

— Ах, вот что вы имеете в виду, — сказал Роман. — Но мы же пошутили, Модест Матвеевич, не было здесь никакого программиста. Это было просто... — Он сделал какое-то движение руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Я видел его со спины и ничего сказать о нем не могу, но юный Ковалев покачал головой и сказал:

— Нет, это не он.

Модест обошел призрак кругом, бормоча:

— Майка... Штаны... Без ботинок... Он! Это он.

Призрак исчез.

— Да нет же, это не тот, — сказал сержант Ковалев. — Тот был молодой, без бороды...

— Без бороды? — Переспросил Модест. Он был сильно сконфужен.

— Без бороды, — подтвердил Ковалев.

— М-да... — Сказал Модест. — А по-моему, у него была борода...

— Так я вручаю вам повестку, — сказал юный Ковалев и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. — А вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч...

— А я вам говорю, что это не наш пятак! — Заорал Модест. — Я про Привалова ничего не говорю, может быть, Привалова и вообще нет как такового... Но товарищ Горыныч наша сотрудница! ..

Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать.

— Я требую разобраться немедленно! — Орал Модест. — Вы мне это прекратите, товарищи милиция! Данная повестка бросает тень на весь коллектив! Я требую, чтобы вы убедились!

— У меня приказ... — Начал было Ковалев, но Модест с криком: «Вы это прекратите! Я настаиваю!» — Бросился на него и поволок из комнаты.

— В музей повлек, — сказал Роман. — Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим...

— Может, лучше не снимать? — Сказал я.

— Снимай, снимай, — сказал Роман. — Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит — ни администрация, ни милиция...

Корнеев сказал:

— Ну, я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще...

Я снял кепку.

— Вы это прекратите, — сказал я. — Я в отпуске.

— Пойдем, пойдем, — сказал Роман.

В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак! — Кричал он. — Все заприходовано... Все на месте». — «Да я ничего не говорю, — слабо защищался Ковалев. — Я только говорю, что пятаков может быть не один...» Модест распахнул дверь, и мы все вошли в обширное помещение.

Это был вполне приличный музей — со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики: много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу поволок сержанта куда-то за стенды, и там они вдвоем загудели как в бочку: «Вот наш пятак...» — «А я ничего и не говорю...» — «Товарищ Горыныч...» — «А у меня приказ!..» — «Вы мне это прекратите!..»

— Полюбопытствуй, полюбопытствуй, Саша, — сказал Роман, сделал широкий жест и сел в кресло у входа.

Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто интересно. «Вода живая. Эффективность 52(старинная прямоугольная бутыль с водой, пробка залита цветным воском). «Схема промышленного добывания живой воды». «Макет живоводоперегонного куба». «Зелье приворотное Вешковского-Траубенбаха» (аптекарская баночка с ядовито-желтой мазью). «Кровь порченая обыкновенная» (запаянная ампула с черной жидкостью)... Над всем этим стендом висела табличка: «Активные химические средства. XII-XVIII вв.». Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок, действующих и недействующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения, но я пошел дальше.

«Меч-кладенец» (очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке, витрина тщательно опечатана). «Правый глазной (рабочий) зуб графа Дракулы Задунайского» (я не Кювье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным). «След обыкновенный и след вынутый. Гипсовые отливки» (следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной). «Ступа на стартовой площадке. IX век» (мощное сооружение из серого пористого чугуна)... «Змей Горыныч, скелет, 1/25 нат. Вел.» (Похоже на скелет диплодока с тремя шеями)... «Схема работы огнедышащей железы средней головы»... «Сапоги-скороходы гравигенные, действующая модель» (очень большие резиновые сапоги)... «Ковер-самолет гравизащитный. Действующая модель» (ковер примерно полтора на полтора, с черкесом, обнимающим младую черкешенку на фоне соплеменных гор)...

Я дошел до стенда «Развитие идеи философского камня», когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так и не удалось сдвинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите», — вяло говорил Модест. «У меня приказ», — так же вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте...» — «Вот пусть старуха явится и даст показания...» — «Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики?..» — «А я этого и не говорил...» — «Тень на весь коллектив...» — «Разберемся...» Ковалев меня не заметил, а Модест остановился, мутно осмотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, вяло прочитал вслух: «Го-мунку-лус лабораторный, общий вид», — и пошел дальше.

Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей.

— Ну как? — Спросил он.

— Безобразие, — вяло сказал Модест. — Бюрократы.

— У меня приказ, — упрямо повторил сержант Ковалев, уже из прихожей.

— Ну, выходите, Роман Петрович, выходите, — сказал Модест, позвякивая ключами.

Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня.

— Я извиняюсь, — сказал он. — А вы куда?

— Как — куда? — Сказал я упавшим голосом.

— На место, на место идите.

— На какое место?

— Ну, где вы там стоите? Вы, извиняюсь, это... Хам-мункулс? Ну и стойте, где положено...

Я понял, что погиб. И я наверное погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся, но в эту минуту в прихожую с топором и стуком ввалилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел взмемекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую, и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и, прошептав: «Ходу, ходу!..» — Бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали:

— Предъявите документы!

— Батюшки, да что же это!

— Почему козел? Почему в помещении козел?

— Мэ-э-э-э-э...

— Вы это прекратите, здесь не пивная!

— Гражданка, уберите козла!

— Прекратите, козел заприходован!

— Как заприходован?

— Это не козел! Это наш сотрудник!

— Тогда пусть предъявит!..

— Через окно — и в машину! — Приказал Роман.

Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мявом шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Мотор не заводился. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась, из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки и с размаху сел рядом со мной.

— Ходу! — Сказал он бодро. — В центр!

Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил:

— Ну, как тебе у нас?

— Нравится, — сказал я. — Только очень шумно.

— У Наины всегда шумно, — сказал Роман. — Вздорная старуха. Она тебя не обижала?

— Нет, — сказал я. — Мы почти и не общались.

— Подожди-ка, — сказал Роман. — Притормози.

А что?

— А вон Володька идет. Помнишь Володю?

Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руки.

— Вот здорово! — Сказал он. — А я как раз к вам иду!

— Только тебя там и не хватало, — сказал Роман.

— А чем все кончилось?

— Ничем, — сказал Роман.

— А куда вы теперь едете?

— В институт, — сказал Роман.

— Зачем? — Спросил я

— Работать, — сказал Роман.

— Я в отпуске.

— Это неважно, — сказал Роман, — понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле!

— Меня ребята ждут, — сказал я умоляюще.

— Это мы берем на себя, — сказал Роман. — Ребята абсолютно ничего не заметят.

— С ума сойти, — сказал я.

Мы проехали между магазином №2 и столовой №11.

— Он уже знает, куда ехать, — заметил Володя.

— Отличный парень, — сказал Роман. — Гигант!

— Он мне сразу понравился, — сказал Володя.

— Видимо, вам позарез нужен программист, — сказал я.

— Нам нужен далеко не всякий программист, — возразил Роман.

Я затормозил возле странного здания с вывеской «НИИЧАВО» между окнами.

— Что это означает? — Спросил я, — могу я по крайней мере узнать, где меня вынуждают работать?

— Можешь, — сказал Роман. — Ты теперь все можешь. Это научно-исследовательский институт чародейства и волшебства... Ну, что же ты стал? Загоняй машину.

— Куда? — Спросил я.

— Ну неужели ты не видишь?

И я увидел.

Но это уже совсем другая история.

Часть II

История вторая. Суета сует.

Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.

«Методика преподавания литературы»

Глава 7

Около двух часов дня, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.

— Привалов, — сурово сказал он, — почему вы опять не на месте?

— Как это не на месте? — Обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич. — Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.

— Елки-палки, — сказал я и повесил трубку.

Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.

— Вы, Привалов, как какой-нибудь этот… Хам-мункулс, — произнес Модест. — Никогда вас нет на месте.

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» — И щелкнул каблуками.

— Все должны быть на своих местах, — продолжал Модест Матвеевич. — Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

— Больше не повторится! — Сказал я, выкатив глаза.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. — Так вот, Привалов, — сказал он наконец, — сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых — противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды… — Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. — А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но их все равно тоже не пускать. Потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был пренцендент; сбежал черт и украл луну. Широко известный пренцендент, даже в кино отражен. — Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.

Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес:

— Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай — прекратите. Были сигналы: не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

— Вполне, — сказал я.

— Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.

— Вас понял, — сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал.

— Что-нибудь недоступно? — Осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

— Вот тут, — сказал я веско, тыча пальцем в список, — наличествуют товарищи в количестве... М-м-м... Двадцати одного экземпляра, лично мне не известные. Эти фамилии я хотел бы лично с вами провентилировать. — Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: — во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

— Все верно, — сказал он снисходительно. — Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертый по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам, посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.

— Занимайте свой пост, — величественно сказал Модест Матвеевич. — Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым Годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. Первым делом заговорю демонов, подумал я.

У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

— Ну? — Сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

— Я сегодня дежурю, — сообщил я.

— Ну и дурак, — сказал Корнеев.

— Грубый ты все-таки, Витька, — сказал я. — Не буду я с тобой больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

— А что же ты будешь? — Спросил он.

— Да уж найду что, — сказал я, несколько растерявшись. Витька вдруг оживился. — Постой-ка, — сказал он. — Ты что, в первый раз дежуришь?

— Да.

— Ага, — сказал Витька. — И как ты намерен действовать?

— Согласно инструкции, — ответил я. — Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

— Да собирается там одна компания, — неопределенно сказал Витька. — У Верочки... А это у тебя что? — Он взял у меня список. — А, мертвые души...

— Никого не пущу, — сказал я. — Ни живых, ни мертвых.

— Правильное решение, — сказал Витька. — Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

— Чей дубль?

— Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный.

Я взял ключ.

— Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.

— Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?

— Не встречал, — сказал я. — И не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу.

— А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город. Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович. — Так, — произнес он, увидев нас. Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.

— Прошу, — сказал он, подавая мне ключи. — Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь... Кстати... — Он поколебался. — Я с вами не беседовал вчера?

— Да, — сказал я. — Вы заходили в электронный зал.

Он покивал.

— Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...

— Нет, — возразил я почтительно, — не совсем так. Это насчет нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.

— Ах, вот как, — сказал он. — Ну, хорошо, желаю вам спокойного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?

Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вышел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня он сказал: «Так», — и снова принялся позвякивать ключами. Это был а-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки а-Янус и у-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность.

А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался — видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом линейного счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном опричники Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче — царе тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче — царе великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом.

— П-приветствую вас! — Пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. — Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю...

Видно было, что мысль эта пришла только что ему в голову, и он страшно ею загорелся.

— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-никогда не п-помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...

— Что вы, Федор Симеонович, спасибо! — Вскричал я. — Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

— Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Этъ хорошо, этъ здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив... Д-дедовские п-приемчики...

Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.

— П-проклятье, опять ч-червивое сделал... У вас как, х-хорошее? Этъ хорошо... Я к в-вам, Саша, п-попозже еще загляну, а то я н-не совсем п-понимаю все-таки систему к-команд... В-водки только выпью и з-зайду... Д-двадцать д-девятая к-команда у вас там в м-машине... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-принесу, Г-гарднера. В-вы ведь читаете по-английцки? Х-хорошо, шельма, пишет, з-здорово! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн к-какую-нибудь... А-азимова дам или Б-брэдбери...

Он подошел к окну и сказал восхищенно:

— П-пурга, черт возьми, л-люблю!...

Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.

— А, К-кристо! — Воскликнул он. — П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомним старину, в-выпьем, а? Ч-что он тут будет мучиться? Ему п-плясать надо, с д-девушками...

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

— Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий...

— Н-ну еще бы! — Загремел Федор Симеонович. — М-много крови, много п-песен за п-прелестных льется дам... К-как это там у вас? Только тот достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»...

— Именно, — сказал Хунта. — И потом — я не терплю благотворительности.

— Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта... Ставь теперь б-бутылку шампанского, н-не меньше... С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?

— Нас ждут, Теодор, — напомнил Хунта.

— Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... И валенки, такси же не достанешь... Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.

— В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, — негромко сказал Хунта. — Особенно новички.

Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо.

Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был великим инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались — на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше — всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.

Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.

— Это... — Сказал он, приближаясь. — У меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значить. Надо бы, эта, посмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значить, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как все, эта, поест, кидаться начнет, значить. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.

Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.

— Куда брякнуть-та? — Спросил я.

Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался за триста пятьдесят рублей в месяц, можно было смело назвать евгеникой, но никто ее так не называл — боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия проистекают, и ежели, значить, дать человеку все — хлебца, значить, отрубей пареных, — то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные модели: модель человека, неудовлетворенного полностью, модель человека, неудовлетворенного желудочно, модель человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым — он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серией нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить и не лечить, то он, эта, будет, значить, несчастлив и даже, может, помрет. Как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия по проверке работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, вопервых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет.

— Куда брякнуть-та? — Спросил я.

— Брякнуть-та? А домой, куда же еще в Новый год-та. Мораль должна быть, милый. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по нашему, нес па?

— Я знаю, что домой. По какому телефону?

— А ты, эта, в книжку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значить, в книжку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Ан масс.

— Хорошо, — сказал я. — Брякну.

— Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви.

Я набрался храбрости и буркнул:

— А ведь мы с вами на брудершафт не пили.

— Пардон?

— Ничего, это я так, — сказал я.

Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:

— А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар, значить.

Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:

— Выбегалло забегалло?

— Забегалло, — сказал я.

— Н-да, — сказал он. — Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету.

Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил.

— А ну-ка займись, — сказал он. — Дано: запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микротопоров, кубатура... — Он оглядел комнату. — Ну сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии весов... Удаляй!

Я почесал за ухом.

— Сатурн... Что ты мне про Сатурн... А вектор магистатум какой?

— Ну, брат, — сказал Ойра-Ойра, — это ты сам должен...

Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие (произнес заклинание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужасно больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.

— Плохо, — с упреком сказал Ойра-Ойра. — Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?

— А, — сказал я, — верно. — Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.

— Посредственно, — сказал он. — Займемся материализацией.

Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное, — говорил он. — А это отдашь Модесту. Он у нас Камноедов.» В конце концов я сотворил настоящую грушу — большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.

Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимыми сами. Очень неловко получилось. Однако Магнус Федорович главным образом работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация белого тезиса, как аргумента достаточно произвольной функции Z не вполне представимого человеческого счастья».

Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам белый тезис, а главное — понять, что это такое и где его искать.

Упоминание о белом тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил белый тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот белый тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза — я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, — я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного в них не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самый черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, оставались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В общем-то Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливее шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).

Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:

— Я еще одно определение нашел.

— Какое? — Спросил я.

— Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?

— Конечно, хотим, — сказал Роман.

Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:

Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенни выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.

— Ничего не понял, — сказал Роман. — Дайте я прочту глазами. Редькин отдал ему записную книжку и пояснил: — Это Кристофер Лог. С английского. — Отличные стихи, — сказал Роман. Магнус Федорович вздохнул. — Одни одно говорят, другие

— другое. — Тяжело, — сказал я сочувственно. — Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?

— Вряд ли, — сказал я. — Я бы не взялся.

— Вот видите! — Подхватил Магнус Федорович. — А вы у нас заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?

— А может, его вообще нет? — Сказал Роман голосом кинопровокатора.

— Чего?

— Счастья.

Магнус Федорович сразу обиделся.

— Как же его нет? — С достоинством сказал он, — когда я сам его неоднократно испытывал?

— Выменяв пенни на шиллинг? — Спросил Роман.

Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.

— Вы еще молодой... — Начал он.

Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!» — И выбежал вон.

— Good God! — Сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. — Canst thou not come in by usual way as decent people do? Sir... — Добавил он. (Ужель обычный путь тебе заказан, путь достойного человека? Сэр... (Англ))

— Beg my pardon, — сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. (Прошу прощения (англ)) наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания.

Мерлин поправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:

— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

— Предсказанные, — сказал Роман.

— Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

— Полезная вещь — радио, — сказал Роман.

— Я радио не слушаю, — сказал Мерлин. — У меня свои методы. Он потряс подолом мантии и поднялся на метр от пола. — Люстра, — сказал я, — осторожнее. Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал: — Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским... Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был так архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом предсказаний и пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений — и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления Соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществляющийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в двадцатые годы с Соловецкой выставки юных техников. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с нею занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на Лысой горе с ха эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.

Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель Соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.

— Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, герою труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... Председатель сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал ему Мерлин, — я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука...

Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.

— Алло, — сказал я. — Алло, вас слушают.

В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин: «И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора, однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя...»

— Сэр гражданин Мерлин, — сказал я. — Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.

Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент.

— Алло, — снова сказал я в трубку.

— Кто у аппарата?

— А вам кого нужно? — Сказал я по старой привычке.

— Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.

— Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.

— Вот так. Докладывайте.

— Что докладывать?

— Слушайте, Привалов. Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему в институте после окончания рабочего дня находятся люди?

— Это Мерлин, — сказал я.

— Гоните его в шею!

— С удовольствием, — сказал я. (Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» — И растаял в воздухе.)

— С удовльствием или без удовольствия — это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того чтобы запирать их в ящик.

Выбегалло донес, подумал я.

— Вы почему молчите?

— Будет исполнено.

— В таком вот аксепте, — сказал Модест Матвеевич. — Бдительность должна быть на высоте. Доступно?

— Доступно.

Модест Матвеевич сказал: «У меня все», — и дал отбой.

— Ну ладно, — сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. — Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже.

Я шел, спускаясь в темные коридоры, и потом опять поднимаясь наверх. Я был один; я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, запутанном, как лабиринт, доме.

Ги де Мопассан

Глава 8

Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход по парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макродемона максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр — в орлянку. Они занимались этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомелита под электронным микроскопом, одетые в поношеные ливреи. Как и полагается демонам максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были крупные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста, сравнимого с возрастом Галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела технического обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство. Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушалось статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жиана Жиакомо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света, но все было заприходовано, заинвентаризовано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено.

На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и креозотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном, они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы, потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно пиретрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик саня дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетопыря, как две капли воды похожего на товарища завкадрами.

В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите, — строго сказал я. — Что еще за мистика! Как не стыдно!..» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице.

Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее двенадцати этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр, и тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через десять-пятнадцать лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени, нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным.

Весь первый этаж был занят отделом линейного счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами, здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии, здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купалу, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех; разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь; возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты.

Я отомкнул дверь центрального зала, и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор детского смеха, похожий чем-то на генератор Ван дер Граафа. Только в отличие от генератора он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно, — короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер за собой дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Симеоновича представлялось мне просто кощунством.

Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженощно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную... Федор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Бидструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением.

Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой вольноотпущенный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко.

— С наступающим, — сказал я, сделав вид, что ничего не заметил.

Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил:

— Благодарствуйте. И вас тоже.

— Все в порядке? — Спросил я, оглядывая ряды клеток и стойл.

— Бриарей палец сломал, — сказал Альфред.

— Как так?

— Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко — они ж неуклюжие, гекатонхейры, — и сломал.

— Так ветеринара надо, — сказал я.

— Обойдется! Что ему, впервые, что ли...

— Нет, так нельзя, — сказал я. — Пойдем посмотрим.

Мы прошли вглубь вивария мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки с лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года... Гекатонхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы неба и земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и котт спали, свернувшись в узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке и выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными девяносто двумя руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.

— Что? — Сказал я жалостливо. — Болит?

Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.

— Страсть как болит, — сказала она. Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня.

Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя что было силы. Бриарей взревел всеми пятьюдесятью глотками и повалился на спину.

— Ну-ну-ну, — сказал я, вытирая руки носовым платком. — Все уже, все...

Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся.

— Кровь бы ему пустить полезно, — сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: — да только какая в нем кровь — видимость одна. Одно слово — нежить.

Бриарей поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджиа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги, перед огромным пюпитром и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинным пальцем неприятные движения: не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. (Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взревывания спросонок.) Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кощея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении: смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл...

Тут меня схватили за штанину, и пропитый голос произнес:

— А ну, урки, с кем на троих?

Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в двести вольт.

— Руку отдавил, дылда очкастая! — Сказал один.

— А ты не хватай, — сказал я. — Осины захотел?

Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами.

Я сказал Альфреду:

— Ну хорошо. По-моему, все в порядке. Пойду дальше.

— Путь добрый, — отвечал Альфред с готовностью.

Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает.

Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное колесо Фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны колеса Фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до десяти мегапарсеков, ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности.

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у колеса — вскакивали на обод, проезжали до стены, и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите, — сказал я, — это вам не балаган». Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеваной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж.

Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый, дряхлый солдат в мундире преображенского полка и треуголке. Здесь размещался отдел оборонной магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал Голема при дворцовых переворотах: глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался: часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркитанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину к Карлу Великому китайского, натасканного на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров (для ночной разведки боем), василисков (для поражения противника ужасом до полной окаменелости), ковры-самолеты (для сбрасывания нечистот на неприятельские города), мечи-кладенцы различных достоинств (для компенсации малочисленности) и многое другое. Однако уже после первой мировой войны, после Длинной Берты, танков, иприта и хлора оборонная магия начала хиреть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Питирим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джинн-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джиннами, выдержанными в заточении не менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержанный джинн (рассуждал Питирим Шварц), освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джиннами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким тралением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Питирим потерял душевное равновесие, роздал имевшихся у него джиннов по отделам и ушел исследовать смысл жизни к Кристобалю Хунте. Больше его никто никогда не видел.

Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрипел: «Не велено, проходи дальше...» — И снова задремал. Я оглядел пустую захламленную комнату с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей, пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со смазанным грифом «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего, а что касается самовозгорания, то все что могло самовозгореться, самовозгорелось здесь много лет назад.

На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки «19», а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки «124». Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада данаид в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов.

Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджин-инглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание книги судеб. Книга судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73.619.024.511 людях разумных. Первый том начинался питекантропом Аыуыхх. («Род. 2 авг. 965543 г. до н. э., Ум. 13 ян. 965522 г. до н. э. Родители рамапитеки. Жена рамапитек. Дети: самец Ад-амм, самка Э-уа. Кочевал с трибой рамапитеков по араратск. долин. Ел, пил, спал в свое удовольств. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерн. медвед. во время охоты.») Последним в последнем томе регулярного издания, вышедшего в прошлом году, числился Франсиско — Каэтано — Августин — Лусия — и — Мануэль — и — Хосефа — и — Мигель — Лука — Карлос — Педро Тринидад. («Род. 16 июля 1491г. н. э., Ум. 17 июля 1491г. н. э. Родители: Педро — Карлос — Лука — Мигель — и -Хосефа — и — Мануэль — и — Лусия — Августин — Каэтано — Франсиско Тринидад и Мария Тринидад (см.), Португалец. Анацефал. Кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии».)

Из выходных данных явствовало, что книга судеб выходит тиражом в 1 (один) экземпляр, и этот последний том подписан в печать еще во время полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того, чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти.

В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкралась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались.

Консультировала издание книги судеб специальная группа в отделе предсказаний и пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, но никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра господина Мерлина, и институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом, и каждый раз на конкурс подавал заявление один-единственный человек — сам Мерлин.

Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его — сорока тремя голосами «против» при одном «за». (Мерлин по традиции тоже был членом ученого совета.)

Отдел предсказаний и пророчеств занимал весь третий этаж. Я прошелся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гущи», «Группа авгуров», «Группа пифий», «Синоптическая группа», «Группа пасьянсов», «Соловецкий оракул». Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацех». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой и каждую ночь она возобновлялась. Вообще на чем держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали доклады на странные темы, вроде: «Относительно выражения глаз Авгура» или «Предикторские свойства гущи из-под кофе мокко урожая 1926 года». Иногда группе пифий удавалось что-нибудь правильно предсказать, но каждый раз пифии казались такими удивленными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У-Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно отмечено, сдержать неопределенной улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуров.

На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа: я погасил свет в кельях отдела вечной молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой.

В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая — руки в карманы, — унылая модель вечно молодого юнца. Его седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал.

Здесь стоял мой «Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгатерия, например, встретила меня с распростертыми объятиями, и главный бухгалтер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий отделом универсальных превращений, вначале тоже обрадовался, но, убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. Зато от его подчиненного и любимого ученика Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной метматематики. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестнадцатиричную, да еще менял логику, начисто отрицая принципы исключенного третьего. Федор же Симеонович Киврин забавлялся с машиною, как ребенок с игрушкой. Он мог часами играть с нею в чет-нечет, обучил ее японским шахматам, а чтобы было интереснее, вселил в машину чью-то бессмертную душу — впрочем, довольно жизнерадостную и работящую. Янус Полуэктович (не помню уже, а или у) воспользовался машиной только один раз. Он принес с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую присоединил к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевленный теперь «Алдан» иногда печатал теперь на выходе: «Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии в пси-поле инкуб-преобразования», несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойра-Ойры о механизме наследственности биполярных гомункулусов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряженности м-поля дивана-транслятора в девятимерном маго-пространстве. Я вел рабочую калькуляцию для подшефного рыбзавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира детского смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проделал все квадратуры численного метода Кристобаля Хозевича, за что тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла.

Было еще рано — всего седьмой час. Я включил «Алдан» и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах, она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари.

Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками, а по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого, красный и распухший от насморка, был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой, паленой шерстью и стрептоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед, и я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной.

В помещениях отдела абсолютного знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селедочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках намело, под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошел между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил, из чернильниц торчали окурки. Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому: работай — не работай — все едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу кривой относительного познания в области ее асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных «Мерседесах», а другие отпрашивались в командировки на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределенностей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.

В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амбруазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как «Родильный дом». Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значить. Компрене ву? (Понимаете? — Франц.)

В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами эскулапа, парацельса и самого Амвросия Амбруазовича. Амвросий Амбруазович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль.

В центре лаборатории стоял автоклав, в углу — другой, побольше. Около центрального автоклава прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с пареными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы, но я так и не смог понять где. В лаборатории царила тишина, из недр автоклава доносились ритмичные щелкающие звуки.

Почему-то на цыпочках, я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел: нечто белое и бесформенное медленно колыхалось в зеленоватой полутьме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. По сусалам его, вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая черта, расписанная корявыми кабаллистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против Гаки — голодного демона Ада .

С некоторым облегчением я покинул владения Выбегаллы и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан Жиакомо и его сотрудники занимались теорией и практикой универсальных превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала месткому, стихи были мои:

Раскопай своих подвалов
И шкафов перетряси,
Разных книжек и журналов
По возможности неси.

Я покраснел и пошел дальше. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я крадучись подобрался к двери.

Хочу тебя прославить, тебя, пробивающегося сквозь метель зимним вечером. Твое сильное дыхание и мерное биение твоего сердца...

У. Уитмен

Глава 9

Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль — это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук — он создает себе дубля безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело — даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого.

Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой «москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката.

Одно время я думал, что а-Янус и у-Янус — это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редькин, но задача оказалась ему явно не по силам.

Далее, Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками: считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собою кремнийорганические структуры, были дубли и на германиевой основе, а последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах.

И наконец, самое главное — ни а-Януса, ни у-Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами, они были одним человеком — Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались.

Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив:

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,
Для нас наука-темный лес
Чудес.
А мы нормальные астрономы — да!
Хватаем звездочки с небес...

Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался препираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сотворенные мною чучела без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому инстинктивно.

Справа от дубля, в углу, стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80е, убыточное изделие китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом, в свете трех рефлекторов, блестел штопаной кожей мой старый знакомец-диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая, зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джинн, можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками.

Виткин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет:

В целях природы обуздания,
В целях рассеять неученья
Тьму
Берем картину мирозданья — да!
И тупо смотрим, что к чему...

Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом поворачивать.

Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя м-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны, и спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого белого тезиса. Для Модеста Матвеевича — музейным экспонатом инвентарный номер 1123, к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь, Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Федором Симеоновичем и при активной поддержке Жиана Жиакомо, опираясь на официальное письмо президиума Академии Наук за личными подписями четырех академиков, удалось-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить с занимаемых позиций Модеста Матвеевича. Модест Матвеевич объяснил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать, и что желает он, чтобы диван инвентарный номер 1123 находился в специально отведенном для него, дивана, помещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все, до академиков включительно, пеняют на себя. Янус Полуэктович согласился пенять на себя, Федор Симеонович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию.

Витька был серьезный работник, не то что шалопаи из отдела абсолютного знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента.

Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился набок и снова перевернулся на спину.

— С-скотина, — сказал дубль с выражением.

Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился:

— Работаем?

Дубль тупо смотрел на меня.

— Ну брось, брось, — сказал я. — Все ясно.

Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал.

— Ну, вот что, — сказал я. — Сейчас пол-одиннадцатого. Даю тебе десять минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился «Мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола и сказал:

— Н-н-ну?

— Чего ты ко мне пристал? — Осведомился Витька. — Видишь ведь, что человек работает.

— Ты же дубль, — сказал я. — Не смей со мной разговаривать.

— Убери клещи, — сказал он.

— А ты не валяй дурака, — сказал я. — Тоже мне дубль. Витька сел на край стола и устало потер уши. — Ничего у меня сегодня не получается, — сообщил он. — Дурак я сегодня. Дубля сотворил — получился какой-то уж совершенно безмозглый. Все ронял, на умклайдет сел, животное... Треснул я его по шее, руку отбил... И окунь дохнет систематически.

Я подошел к дивану и заглянул в ванну.

— А что с ним?

— А я откуда знаю? ..

— Где ты его взял?

— На рынке.

Я поднял окуня за хвост.

— А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка.

— Дубина, — сказал Витька. — Вода-то живая...

— А-а, — сказал я и стал соображать, что бы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване-царевиче и сером волке.

Джинн в бутыли двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи.

— Протер бы бутыль, — сказал я, ничего не придумав.

— Что?

— Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там.

— Черт с ним, пусть скучает, — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова повернул там что-то. Окунь ожил.

— Видал? — Сказал Витька. — Когда даю максимальное напряжение — все в порядке.

— Экземпляр... Неудачный, — сказал я наугад.

Витька вынул руку из дивана и уставился на меня.

— Экземпляр... — Сказал он. — Неудачный... — Глаза его стали как у дубля. — Экземпляр экземпляру люпус эст...

— Потом он, наверное, мороженый, — сказал я, осмелев. Витька меня не слушал.

— Где бы рыбу взять? — Сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. — Рыбочку бы...

— Зачем? — Спросил я.

— Верно, — сказал Витька. — Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — почему бы не взять другую воду? Верно?

— Э, нет, — возразил я. — Так не пойдет.

— А как? — Жадно спросил Витька.

— Выметайся отсюда, — сказал я. — Покинь помещение.

— Куда?

— Куда хочешь.

Он перелез через диван и сгреб меня за грудки.

— Ты меня слушай, понял? — Сказал он угрожающе. — На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гауссиане. Вода воде рознь... Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств...

— Эй, милый, — позвал я его. — Новый год скоро! Не увлекайся так.

Он отпустил меня и засуетился:

— Куда же я его дел?.. Вот лапоть!.. Куда я его сунул?.. А, вот он...

Он бросился к стулу, на котором торчком стоял умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще:

— Опомнись! Двенадцатый же час! Тебя же ждут! Верочка ждет!

— Не, — отвечал он. — Я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый... Дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол...

Он крутил в руках умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз.

— Выметайся, говорят тебе! — Заорал я в отчаянии.

Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джинном и стал смотреть.

Витька замер в классической позе для материального заклинания (позиция «мартихор»), над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез «мерседес», исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер джинну окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.

Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то сломя голову мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!», Кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жиан Жиакомо, за ним с огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланялись. От великого престидижитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления.

— Какого дьявола? — Вскричал я и побежал на лестницу. Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул: треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук «мерседесов» и «рейнметаллов». И над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Симеоновича: «Этъхорошо, этъздо-о-рово! Вы молодец, голубчик! Но к-какой дурак выключил г-генератор?» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян, они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны.

— А, Саша? — Приветливо сказал Эдик. — Здравствуй, Саша.

— Сашка, посторонись с дороги! — Крикнул Володя Почкин, пятясь задом. — Заноси, заноси!..

Я схватил его за ворот:

— Ты почему в институте? Ты как сюда попал?

— Через дверь, через дверь, пусти... — Сказал Володя. — Эдька, еще правее! Ты видишь, что не проходит?

Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу, — бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. — Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору!..» Макродемоны вход и выход, вместо того чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфоресцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности вход сорвал банк примерно в семьдесят миллиардов молекул у забывшего свои обязанности выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерил ее для одной вечеринки и держал ее за шкафом в электронном зале, и знал об этом один только Витька Корнеев. Заговор, решил я. Всех разнесу. А через вестибюль все шли и шли покрытые снегом краснолицые веселые сотрудники.

— Ну и метет — все уши забило...

— А ты тоже ушел?

— Да ну, скукотища... Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел...

— Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки — не помогает...

— А если пучок электронов? Масса большая? Ну тогда фотонов...

— Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну, давай хоть газовый...

— Галка, как же это ты мужа оставила?

— Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня...

Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов, оставалось пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич.

По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джинн, огромный, синий от злости , метался в вольере, огороженном щитами Джян бен Джяна и закрытым сверху мощным магнитным полем. Джинна стегали высоковольтными разрядами, он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл:

— Ну хватит, ну отстаньте, ну я больше не буду... Ой-йой-йой... Ну я уже совсем тихий...

У пульта разрядника стояли спокойные немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки.

Я подошел к ним.

— А, Сашка!

— Сашенция, ты, говорят, дежурный сегодня... Я к тебе потом забегу в зал.

— Эй, кто-нибудь сотворите ему стакан, у меня руки заняты...

Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джян бен Джяна, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джинн перестал скулить и начал принюхиваться. В ту же секунду Кремлевские часы принялись бить двенадцать.

— Ребята! Да здравствует понедельник!

Стаканы сдвинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку:

— Кто творил вино?

— Я.

— Не забудь завтра заплатить.

— Ну что, еще бутылочку?

— Хватит, простудимся.

— Хороший джинн попался... Нервный немножко.

— Дареному коню...

— Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продержится, а там пусть катится со своими нервами.

— Ребята, — робко сказал я, — ночь на дворе... И праздник. Шли бы вы по домам...

На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдет», — и гурьбой двинулись к вольеру... Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джинн трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в сторонке и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джян бен Джяна были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцеубийцы, и рассчитаны на прямое попадание молнии. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней — всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину.

Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал: «Ой, щекотно!.. Ой, не могу!..» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились шутихи, стуча о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую инкунабулу с медными застежками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швеллером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела недоступных проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела смысла жизни, конвоирующего на допрос к Хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев... Все были заняты и деловиты.

Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов Новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятней быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, люди с большой буквы, и девизом их было — *понедельник начинается в субботу*. Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну.

В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до предела). Что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определить степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов.

В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт представлял неограниченные возможности для превращения человека в мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек — переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой («живем один раз», «надо брать от жизни все», «все человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остается одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик.

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже не глупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющих любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле — строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой...

Я вернулся на свой пост в приемную директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Я.П. Невструева «Уравнения математической магии». Эта книга читалась, как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему «Алдану», как позвонил Модест Матвеевич.

С хрустом жуя, он сердито осведомился:

— Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие!

— С Новым годом, Модест Матвеевич, — сказал я.

Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже:

— Соответственно. Как дежурство?

— Только что обошел помещения, — сказал я. — Все нормально.

— Самовозгораний не было?

— Никак нет.

— Везде обесточено?

— Бриарей палец сломал, — сказал я.

Он встревожился.

— Бриарей? Постойте... Ага, инвентарный номер 1489... Почему?

Я объяснил.

— Что вы предприняли?

Я рассказал.

— Правильное решение, — сказал Модест Матвеевич. — Продолжайте дежурить. У меня все.

Сразу после Модеста позвонил Эдик Амперян из отдела линейного счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашел дубль Ойры-Ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Я отказал. Он стал настаивать. Я выгнал его вон.

Через минуту примчался сам Роман.

— Давай ключи.

Я помотал головой.

— Не дам.

— Давай ключи!

— Иди ты в баню. Я лицо материально ответственное.

— Сашка, я сейф унесу!

Я ухмыльнулся и сказал:

— Прошу.

Роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорен, либо привинчен к полу.

— А что тебе там нужно? — Спросил я.

— Документация на РУ-16, — сказал Роман. — Ну дай ключи!

Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вопль донесся откуда-то сверху. Я вскочил.

Горе! Малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем...

А.С. Пушкин

Глава 10

— Вылупился, — спокойно сказал Роман, глядя в потолок.

— Кто? — Мне было не по себе: крик был женский.

— Выбегаллов упырь, — сказал Роман. — Точнее, кадавр.

— А почему женщина кричала?

— А вот увидишь, — сказал Роман.

Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком выскакивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы вперемежку с мышами с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.

В «Родильном доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.

Профессор Выбегалло кушал. На столе перед перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная пареными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губами, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растекалась обширная зеленоватая лужа.

Выбегалло вдруг произнес неразборчиво:

— Эй, девка... Эта... Молока давай! Лей, значить, прямо сюда в отрубя... Силь ву пле, значить...

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.

— Эх! — Воскликнул профессор Выбегалло. — Посуда мала, значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значить, прямо из чана кушать...

Стелла стала опрокидывать ведра прямо в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, открывшуюся вдруг невероятно широко.

— Да позвоните же ему! — Жалобно закричала Стелла. — Он же сейчас все доест!

— Звонили уже, — сказали в толпе. — Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.

— Ну, он придет? Придет?

— Сказал, что выходит. Галоши, значит, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель человека неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как следствие напряженных занятий.

Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вынесли в коридор. Потом раздался ясный голос Эдика Амперяна:

— Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

— Еще селедочные головы есть...

— Много?

— Две тонны.

— М-да, — сказал Эдик. — И где же они?

— Они должны подаваться по конвейеру, — сказала Стелла. — Но я попробовала, а конвейер сломан...

— Между прочим, — сказал Роман громко, — уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно...

— Я тоже, — сказал Эдик.

— Поэтому, — сказал Роман, — было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?

— Нет его. Может за Федором Симеоновичем сбегать?

— Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.

— В каком режиме?

— В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.

— Одну минутку, — сказал Эдик. — А если мы его повредим?

— Да-да-да, — сказал я. — Пусть уж лучше он меня сожрет.

— Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.

— Начали, — сказал Эдик.

Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнулся и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся, наконец, до желанной постели.

— Подействовало, кажется, — с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.

Роман с сомнением поджал губы.

— У меня нет такого впечатления, — вежливо сказал Эдик.

— Может быть, у него завод кончился? — Сказал я с надеждой.

Стелла жалобно сообщила:

— Это просто релаксация... Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется.

— Слабаки вы, магистры, — сказал мужественный голос. — Пустите-ка меня, пойду Федора Симеоновича позову.

Все переглянулись, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!» Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете. Я был убежден, что стоит Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» — Как упырь немедленно бы прекратил.

— Роман, — сказал я небрежно, — я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Не трусь, — сказал он. — Это все игрушки. С Выбегаллой только связываться неохота... Этого ты не бойся, ты вон того бойся! — Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом он погремел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

— Ну, держись, ребята... — Прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд — оценивающий, выбирающий какой-то. Володя почкин непроизвольно произнес: «Но-но, тихо, ты...» И тут пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смутило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.

— Милай! — Закричал он. — Что же это, а? Кель сетуасьен! (Ну и дела! (Фр.)) Стелла, что же ты, эта, смотришь!.. Где селедка? У него же потребности! У него же они растут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун.

— Потребности надо удовлетворять! — Говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера. — Почему сразу не дала? Ох уж эти ля фам, ля фам (женщины, женщины! (Фр.)) Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен. Чтоб, значить, не всяк мог пользоваться, потому что, эта, потребность у всех, а селедка — для модели...

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые — Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались на науке, Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий ученый, он был немногословен...» Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающейся самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за Новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать.

— Главное — что? — С готовностью провозгласил Выбегалло. — Главное — чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, ексви, шармант(чудесно, превосходно, прелестно). И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она... Он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Вот оно сейчас просыпается... Оно хочет. И потому оно пока несчастно. Но оно может, и через это «может» совершится диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять-пятнадцать оно может... Вы, товарищ Питомник, там свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс... Здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент... Вы, товарищ Проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю... Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как в глубь, так и вширь. Это, значить, будет единственно верный процесс. Он ди, ке (говорят, что...). Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур (сытое брюхо к ученью глухо). Что мы, применительно к данному случаю, переведем так: голодной куме все хлеб на уме...

— Наоборот, — сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

— Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного — от практики. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистческой идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку, или попеть самому, и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету... Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духспособности у нее мы сейчас вычленим.

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духспособности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставались, клялись в любви своей...» Радиоприемник засвистел и заулюлюкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух...

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприемника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

— Ногу! — Закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. — Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасьен са моле гош этюн гранд синь! (Дрожание его левой икры есть великий признак!) Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают! Уи сан дот (разумеется), человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно — только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо, по-нашему, без всех этих вуалей — модель потребности желудочной. Потому у нее такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка — надо ее слушать или там танцевать... А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Компране ву?

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

— Разрешите вопрос, — вежливо сказал Эдик. — Чем вы объясняете прекращение пароксизмов довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

— Отвечаю, — самодовольно сказал он. — Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собой конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать, — это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

— Еще вопрос можно? — Сказал Роман.

— Прошу, — сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — а что будет, когда оно все потребит?

Взгляд Выбегаллы стал гневным.

— Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизмом, экзистенцио...Оа...Нализмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали Вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

— Я, конечно, не специалист. Но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся.

— Вот видите, товарищ Ойра-Ойра, — сказал он. — Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит. Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный! — Обратился он прямо к корреспонденту. — Данная модель есть уже пройденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть! — Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. — Вот наш идеал! — Провозгласил он. — Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясню для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря, по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милостей от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

— Простите, — вежливо сказал Эдик, — и все ее потребности будут материальными?

— Ну разумеется! — Вскричал Выбегалло. — Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду...» Я, кажется, тоже начал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась огромная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, города, континенты, планеты и солнца...

Б. Питомник снова обратился к Выбегалле:

— А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?

— Ответ, — сказал Выбегалло. — Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно.

— Но это будет в ближайшие дни?

— Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать.

Тут дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

— Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?

— Нам опасаться нечего, — веско сказал Выбегалло. — Пусть наши враги, эта, опасаются.

— Помните, я говорил вам, что возможна...

— Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значить, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще...

— Все-таки, может быть, на полигоне...

— Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегалло. — Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы?

Какой-то умник из отдела абсолютного знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснеия. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духпотребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:

— Есть предложение. Всем лично незаинтересованным немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

— Сейчас здесь будет очень грязно, — пояснил он. — До невозможности грязно.

— Это провокация, — с достоинством сказал Выбегалло. Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле — нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

— В чем дело? — Спрашивали Романа. — Что будет? Почему грязно?

— Сейчас он рванет, — отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

— Кто рванет? Выбегалло?

— Корреспондентов жалко, — сказал Эдик. — Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, я помогу, тяжело ведь...»

— Дверь закройте, — посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

— Ну, сейчас что будет... — Сказал он. — Проницательный дурак, я ему подмигивал... Как он жрет!.. С ума сойти, как он жрет...

— Сейчас двадцать пять минут третьего... — Начал Роман. И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись, Стелла опять взвизгнула.

— Спокойно, — сказал Роман. — Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

— Надо посмотреть, что ли.

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти выгребать...»

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете.

Ф. Рабле

Глава 11

Больше всего меня поразило то, что Выбегалло нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом:

— Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить... Есть, есть в вас, товарищи, этакий нездоровый, значить, скептицизм. Я бы сказал, этакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы...

Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под щипящие струи абсорбентов. Г. Проницательного била крупная дрожь. Б. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался.

Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «Фор джентльмен», рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегалло осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне, — сказал он. — Прочим предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает».

Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпою теоретиков, прикидывая на ходу минимально возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше восьми утра.

Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегалло или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больший интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотание. Можно было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Потому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности (да и желания) разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой: это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование.

Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященному заумными и тоскливо-непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее чуда и только чуда и практически не способны отличить настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортале. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием великой проблемы Ауэрса! Ее решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу. («Как, вы работаете в НИИЧАВО? Ну как там Выбегалло? Что он еще новенького сотворил?») Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего двести-триста человек на всем Земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов-корреспондентов и — увы! — Нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б. Питомника изрядный шум. (Позже выянилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости.)

Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть: многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегалло, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собою мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру.

«Брысь!» — Заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу.

Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом «Уравнений математической магии», открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. Вот так возникают нездоровые сенсации, подумал я.

Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля.

Вообще я пока еще очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки ученье и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе колеса Фортуны — не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всей возможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом — сливочным, из хрустальной масленки — и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица, — сказал я себе, — ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольная и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением бровей ликвидировав сотворенную мною кунсткамеру. За ним проследовали Федор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета.

— Начнем с того, — с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, — что ваш, простите, «Родильный дом» находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — отвечал Выбегалло фальцетом. — Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь течет живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего.

— Г-голубчик, — пророкотал Федор Симеонович, — Амвросий Амбруазович! Н-надо же принять во внимание возможные осложнения... В-ведь никто же не занимается, скажем, д-драконом в здании, х-хотя есть и огнеупоры, и...

— У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин, странные у вас аналогии, чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!..

— Г-голубчик, да дело же не в том, ч-что он внеклассовый, а в том, ч-что он пожар может устроить...

— Вот, опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... Между городом и деревней... Между мужчиной и женщиной, наконец... Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Симеонович!

— К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.. Вы же ему при мне об-объясняли! Я г-говорю, Амвросий Амб-бруазович, что ваш эксперимент оп-пасен, понимаете?.. Г-город можно повредить, п-понимаете?

— Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру!

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому...

— Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен!

Тут Роман, видимо по молодости лет, потерял терпение.

— Да не идеальный человек! — Заорал он. — А ваш гений-потребитель!

Воцарилось зловещее молчание.

— Как вы сказали? — Страшным голосом осведомился Выбегалло. — Повторите. Как вы назвали идеального человека?

— Й-Янус Полуэктович, — сказал Федор Симеонович, — так, друг мой, нельзя все-таки...

— Нельзя! — Воскликнул Выбегалло. — Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института! Это символично! Товарищ Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узколобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта; царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

— П-прекратите д-демагогию! — Взорвался, наконец, и Федор Симеонович. — К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за слово такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

— Я могу сказать только одно, — равнодушно сообщил Кристобаль Хозевич. — Я простой бывший великий инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне.

— Н-не ближе пяти к-километров от г-города, — добавил Федор Симеонович. — Или д-даже десяти.

По-видимому, Выбегалле ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была вьюга и не было достаточного освещения для кинохроники.

— Так, — сказал он, — понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо уж на десять тысяч километров, Федор Симеонович? Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Кристобаль Хозевич, или откуда вы там? Так прямо и скажите. А мы запишем.

Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— Лет триста назад, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь.

— Ничего, ничего, — сказал Выбегалло. — Это вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолин недорезанный.

Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в приемную вышел бледный, оскаленный Роман и, щелкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаждением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.

— А ведь в-вас гнать надо, В-выбегалло, — неожиданно спокойным голосом произнес Федор Симеонович. — Вы, оказывается, н-неприятная фигура.

— Критики, критики не любите, — отвечал, отдуваясь, Выбегалло.

И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у Джек-Лондоновских капитанов.

— Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбруазовича, будет произведен сегодня в десять ноль-ноль. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в пятнадцати километрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.

Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки, несомненно, странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты.

— Я пойду вызову машину, — сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился.

Федор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивали головами, а оправившийся Выбегалло вскричал:

— Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значить, пять тонн все-таки...

— Конечно, — сказал Янус. — Распорядитесь.

В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе. В течение последующего часа я вместе со всеми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное.

Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привел грузчиков-гекатонхейров. Котт и Гиес шли охотно, оживленно галдя в сотню глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив вперед корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружатся, что он ночь не спал. Котт взял автоклав, Гиес — все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживаясь на корточки и, заглядывая снизу, кричал: «Пошло! Пошло!» Или «Правее бери! Зацепляешься!» В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий.

В грузовик набилось порядочно народу. Выбегалло залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал, который час. Грузовик уехал быстро, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Котт и Гиес затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?» Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна Г. Проницательный и Б. Питомник, и грузовик, наконец, уехал.

Институт опустел. Было половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать было нечего, я вздохнул и пустился во второй обход.

Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева, Витька Выбегалловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как Выбегалло, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летательными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперяном, Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь.

— С Новым годом, — сказал я.

— С Новым годом, — приветливо отозвался Эдик.

— Вот пусть Сашка скажет, — предложил Корнеев. — Саша, бывает небелковая жизнь?

— Не знаю, — сказал я. — Не видел. А что?

— Что значит — не видел? М-поле ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь.

— Ну и что? — Сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен. — Витька, — сказал я, — получилось все-таки?

— Саша не хочет говорить про небелковую жизнь, — сказал Эдик. — И он прав.

— Без белка жить можно, — сказал я, — а вот как он живет без потрохов?

— А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя, — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы.

— Я говорю, что жизнь — это белок, — возразил Эдик.

— Не ощущаю разницы, — сказал Витька. — Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.

— Да.

— Ну, а это что? — Спросил Витька. Он слабо махнул рукой. На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол.

— Ах, — сказал он и снова лег. — Это не жизнь. Это нежить. Разве Кощей Бессмертный — это небелковое существо?

— А что тебе надо? — Спросил Корнеев. — Двигается? Двигается. Питается? Питается. И размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?

Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.

— Нежить не есть жизнь, — сказал Эдик. — Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее: поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов.

— Хорошо, — сказал Витька.

Еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубля еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами. Появился дубль величиной с авторучку. Потом величиной со спичечный коробок. Потом — с наперсток.

— Хватит? — Спросил Витька. — Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка.

— Неудачный пример, — сказал Эдик с сожалением. — Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением.

— Много ты знаешь об эволюции, — сказал грубый Корнеев. — Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Прапрапраматерь твоя, была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы — создать товарища Амперяна? Может быть, цель природы — это создание нежити руками товарища Амперяна. Может быть.

— Понятно-понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

— Именно, — сказал Витька.

— А мы все за ненадобностью вымерли.

— А почему бы и нет, — сказал Витька.

— У меня есть один знакомый, — сказал Эдик. — Он утверждает, что человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

— А почему бы в конце-концов и нет?

— А потому, что мне не хочется, — сказал Эдик. — У природы свои цели, а у меня свои.

— Антропоцентрист, — сказал Витька с отвращением.

— Да, — гордо сказал Эдик.

— С антропоцентристами дискутировать не желаю, — сказал грубый Корнеев.

— Тогда давай рассказывать анекдоты, — спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец.

Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький дубль был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль.

— Ребятишечки, — сказал я с искусственным оживлением. — Что же это вы не пошли на полигон?

— А зачем? — Спросил Эдик.

— Ну, все-таки интересно...

— Я никогда не хожу в цирк, — сказал Эдик. — Кроме того: уби нил валес, иби нил велис (где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть (лат.)).

— Это ты о себе? — Спросил Витька.

— Нет. Это я о Выбегалле.

— Ребятишечки, — сказал я, — я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?

— То есть? — Сказал Витька.

— Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон.

— Холодно, — напомнил Витька. — Мороз. Выбегалло.

— Очень хочется, — сказал я. — Очень все это таинственно.

— Отпустим ребенка? — Спросил Витька у Эдика.

Эдик покивал.

— Идите Привалов, — сказал Витька. — Это будет вам стоить четыре часа машинного времени.

— Два, — сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного.

— Пять, — нахально сказал Витька.

— Ну три, — сказал я. — Я и так все время на тебя работаю.

— Шесть, — хладнокровно сказал Витька.

— Витя, — сказал Эдик, — у тебя на ушах отрастет шерсть.

— Рыжая, — сказал я злорадно. — Может быть, даже с прозеленью.

— Ладно уж, — сказал Витька. — Иди даром. Два часа меня устроят.

Мы вместе прошли в приемную. По дороге магистры затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и, спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед.

На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронещиты. Выбегалло торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокакратными биноклями в руках тихо переговаривались по латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове. А Г. Проницательный, увешанный фото— и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.

Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа, среди звезд и исчезали вновь. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотне метров от нас.

Выбегалло оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:

— Товарищи! То-ва-ри-щи! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться... Пишите, пишите, — сказал он Б. Питомнику. — И поточнее пишите... Автоматически, значить, отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека — шевалье, значить, сан пер э сан-репрош... (Рыцарь без страха и упрека)

Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала на снег. Из автоклава ударила длинная, до самых звезд, струя пара.

— Даю пояснение для прессы..— Начал было Выбегалло, но тут раздался страшный рев.

Земля поплыла и зашевелилась. Взвилась огромная снежная туча. Все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и, когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко, гигантской чашей в мертвом свете Луны ползет, заворачиваясь внутрь, край горизонта, как угрожающе раскачиваются бронещиты, как бегут врассыпную, падают и снова вскакивают вывалянные в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочья несутся над равниной подобно огромным мыльным пузырям и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным, тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался все круче и круче, и казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным блеском, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия джинна, глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а джинн, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и, придя в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю, неподалеку от грузовика. Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок и пахло паленым.

Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постанывали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеты до белья. Послышался ропот, затем крики: «Где брюки? Почему я без брюк? Я же был в брюках!», «Товарищи! Никто не видел моих часов?», «И моих!», «И у меня тоже пропали!», «Зуба нет, платинового! Летом только вставил...», «Ой, а у меня колечко пропало... И браслет», «Где Выбегалло? Что за безобразие? Что все это значит?», «Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы? Сколько нас было?», «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв... Джинн... А где же исполин духа?», «Где потребитель?», «Где Выбегалло, наконец?», «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?», «На свертку пространства, я эти штуки знаю...», «Холодно в майке, дайте что-нибудь...», «Г-где же этот вы-Выбегалло? Где этот д-дурак?»

Земля зашевелилась, и из траншеи вылез Выбегалло. Он был без валенок.

— Поясняю для прессы, — сипло сказал он.

Но ему не дали поянить. Магнус Федорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками и завопил:

— Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?

— В полном соответствии с программой... — Бормотал Выбегалло, озираясь. — Наш дорогой исполин...

На него надвинулся Федор Симеонович.

— Вы, м-милейший за-зарываете свой талант в землю. В-вами надо отдел об-боронной магии у-усилить. В-ваших идеальных людей н-на неприятельские б-базы сбрасывать надо. Н-на страх а-агрессору.

Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча, меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали:

— Это же феноменально, сеньоры. Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного я представить себе не мог...

Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом:

— Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? Три фотоаппарата и один киноаппарат.

— И мое обручальное кольцо, — добавил Б. Питомник.

— Пардон, — сказал Выбегалло с достоинством. — Он ву демандера канд он ура безуан де ву. (Когда будет нужно, вас позовут.) Подождите объяснений.

Корреспонденты оробели. Выбегалло повернулся и пошел к воронке. Над воронкой уже стоял Роман.

— Чего здесь только нет... — Сказал он еще издали.

Исполина-потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были фото— и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «москвич», три автомобиля «волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами.

Натянув валенки, Выбегалло, снисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы», — сказал он. Но дискуссии не получилось. Взбешенный Магнус Федорович вызвал милицию. Примчался на «газике» юный сержант Ковалев. Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно, я мерз.

— Пошли домой, — сказал Роман.

— Пошли, — сказал я. — Откуда ты взял джинна?

— Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.

— А что все-таки призошло? Он опять обожрался?

— Нет, просто Выбегалло дурак, — сказал Роман.

— Это понятно, — сказал я. — Но откуда катаклизм?

— Все отсюда же, — сказал Роман. — Я говорил ему тысячу раз: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время». А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует.

— Это все зола, — продолжал он, когда мы подлетели к институту. — Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда у-Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромные разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыше.

— Действительно, — сказал я. — Он даже благодарность тебе вынес. Авансом.

— Странно, верно? — Сказал Роман. — Надо бы все это тщательно продумать.

И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться.

Но это уже совсем другая история.

Часть III

История третья. Всяческая суета.

Когда бог создавал время, — говорят ирландцы, — он создал его достаточно.

Г. Бель

Глава 12

Восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник. Этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Симеоновича, то скрежетом когтей Василиска, играющего в термостате.

В то утро мне снился Модест Матвеевич Камноедов. Будто он стал заведующим вычислительного центра и учит меня работать на «Алдане». «Модест Матвеевич, — говорил я ему, — ведь все, что вы мне советуете, — это какой-то болезненный бред». А он орал: «Вы мне это пр-р-рекратите! У вас тут все др-р-р-ребедень! Белибер-р-рда!» Тогда я сообразил, что это не Модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба» на одиннадцати камнях, с изображением слоника с поднятым хоботом, забормотал: «Слышу, слышу», — и забил ладонью по столу вокруг будильника.

Окно было раскрыто настежь, и я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок. По карнизу, постукивая, бродили голуби. Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи — должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей, и я посочувствовал этому безнадежному занятию. Две мухи сели на плафон, а третья исчезла, и тогда я окончательно проснулся.

Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспарить над кроватью. Как всегда, без зарядки, без душа и завтрака это привело лишь к тому, что реактивный момент с силой вдавил меня в диван-кровать, и где-то подо мной соскочили и жалобно задребезжали пружины. Потом я вспомнил вчерашний вечер, и мне стало очень обидно, потому что сегодня я весь день буду без работы. Вчера в одиннадцать часов вечера в электронный зал пришел Кристобаль Хозевич и, как всегда, подсоединился к «Алдану», чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смысла жизни, и через пять минут «Алдан» загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но «Алдан» вышел из строя надолго, и поэтому сегодня я, вместо того чтобы работать, должен буду, подобно всем волосатоухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты.

Я сморщился, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и в соответствии с рекомендацией думал о светлом и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принялся выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов, но йога-комплекс, так же как и почти ныне забытый майя-комплекс, отнимал пятнадцать-двадцать часов в сутки, и с назначением на пост нового Президента АН СССР старой школе пришлось уступить. Молодежь НИИЧАВО с удовольствием ломала старые традиции.

На сто пятнадцатом прыжке в комнату впорхнул мой сожитель Витька Корнеев. Как всегда с утра, он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движения, как будто плывет брассом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Фрейду, Мерлину и по девице Ленорман. Я сходил умылся, мы прибрались и отправились в столовую.

В столовой мы заняли свой любимый столик под большим, уже выцветшим плакатом: «Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями! Г. Флобер», откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни.

Вчерашней ночью на Лысой горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Вий с Хомой Брутом в обнимку пошли шляться по улицам ночного города, пьяные, приставали к прохожим, сквернословили, потом Вий наступил себе на левое веко и совсем озверел. Они с Хомой подрались, повалили газетный киоск и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство пятнадцать суток.

Кот Василий взял весенний отпуск — жениться. Скоро в

Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственно-склеротической памятью.

Луи Седловой из отдела абсолютного знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом на семинаре.

В институте снова появился Выбегалло. Везде ходит и хвастается, что осенен титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значить, на магнитофонную пленку, и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он, эта, записал в Сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал их, пустив задом наперед на малой скорости. Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно — не говорит.

В вычислительном центре опять сгорел «Алдан», но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта, который последнее время интересуется только такими задачами, для которых доказано отсутствие решения.

Престарелый колдун Перун Маркович Неунывай-Дубино из отдела атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения.

В отделе вечной молодости после долгой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека.

Академия Наук выделила институту энную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Модест Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и цветочными горшками на столбах, а на заднем дворе, между трансформаторной будкой и бензохранилищем, организовать фонтан с девятиметровой струей. Спортбюро просило у него денег на теннисный корт — отказал, объявив, что фонтан необходим для научных размышлений, а теннис есть дрыгоножество и рукомашество...

После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около «Алдана» с распахнутыми внутренностями, в которых копались неприветливые инженеры из отдела технического обслуживания. Разговаривать со мной они не хотели и только угрюмо рекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым.

Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практикантам. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал: «А-а, вот он! Это наш заведующий вычислительным центром, он вам расскажет, как...» Но я очень ловко притворился собственным дублем и, сильно напугав корреспондента, сбежал. У Эдика Амперяна меня угостили свежими огурцами, совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического взгляда на жизнь, но тут у них лопнул перегонный куб и про меня сразу забыли.

В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с У-Янусом, который сказал: «Так», — и, помедлив, осведомился, не беседовали ли мы вчера. «Нет, — сказал я, — к сожалению, не беседовали». Он пошел дальше, и я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жиану Жиакомо.

В конце концов меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позевывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-зале. На председательском месте, покойно сплетя пальцы, восседал завотделом магистр-академик всея белыя, черныя и серыя магии многознатец Морис-Иоганн-Лаврентий Пупков-Задний и благосклонно взирал на суетящегося докладчика, который с двумя неумело выполненными волосатоухими дублями устанавливал на экспозиционном стенде некую машину с седлом и педалями, похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше от остальных, вытащил блокнот и авторучку и принял заинтересованный вид.

— Нуте-с, — произнес магистр-академик, — у вас готово?

— Да, Морис Иоганнович, — отозвался Л. Седловой. — Готово, Морис Иоганнович.

— Тогда, может быть, приступим? Что-то я не вижу Смогулия...

— Он в командировке, Иоганн Лаврентьевич, — сказали из зала.

— Ах, да, припоминаю. Экспоненциальные исследования? Ага, ага... Ну хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени... Я правильно говорю, Луи Иванович?

— Э... Собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад таким образом, что...

— А, ну вот и хорошо. Вот вы и назовите.

— Благодарю вас. Э... Назвал бы так: «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно».

— Очень интересно, — подал голос магистр-академик. — Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник...

— Простите, я как раз с этого хотел начать.

— Ах, вот как... Тогда прошу, прошу...

Сначала я слушал довольно внимательно. Я даже увлекся. Оказывается, что некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, что некоторые из них и по сей день бились над проблемой передвижения по физическому времени, правда, безрезультатно. Но зато кто-то, я забыл фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно производить переброску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана, принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существуют: мир космологических представлений человечества; мир, созданный живописцами, и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов.

Несколько лет назад, оказывается, ученик того самого, знаменитого, собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений человечества. В течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской земли, видит внизу извивающийся хобот одного из трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз, к черепахе. Больше сведений от него не поступало.

Докладчик, Луи Иванович Седловой, неплохой, по-видимому, ученый, магистр, сильно страдающий, однако, от пережитков палеолита в сознании и потому вынужденный регулярно брить уши, сконструировал машину для путешествий по описываемому времени. По его словам, реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмс, Григорий Мелехов и даже капитан Немо. Этот мир обладает своими весьма любопытными свойствами и закономерностями, и люди, населяющие его, тем более ярки, реальны и индивидуальны, чем более талантливо, страстно и правдиво описали их авторы соответствующих произведений.

Все это меня очень заинтересовало, потому что Седловой, увлекшись, говорил живо и образно. Но потом он спохватился, что получается как-то ненаучно, понавешал на сцене схемы и графики и стал нудно, чрезвычайноо специализированным языком излагать про конические декрементные шестерни, полиходовые темпоральные передачи и про какой-то проницающий руль. Я очень скоро потерял нить рассуждений и принялся рассматривать присутствующих.

Магистр-академик величественно спал, изредка, чисто рефлекторно, поднимая правую бровь, как бы в знак некоторого сомнения в словах докладчика. В задних рядах резались в функциональный морской бой в банаховом пространстве. Двое лаборантов-заочников старательно записывали все подряд — на их лицах застыло безнадежное отчаяние и совершенная покорность судьбе. Кто-то украдкой закурил, пуская дым между колен под стол. В переднем ряду магистры и бакалавры с привычной внимательностью слушали, готовя вопросы и замечания. Одни саркастически улыбались, у других на лицах выражалось недоумение. Научный руководитель Седлового после каждой фразы докладчика одобрительно кивал. Я стал смотреть в окно, но там был все тот же осточертевший лабаз, да изредка пробегали мальчишки с удочками.

Я очнулся, когда докладчик заявил, что вводную часть он закончил и теперь хотел бы продемонстрировать машину в действии.

— Интересно, интересно, — сказал проснувшийся магистр-академик. — Нуте-ка? Сами отправитесь?

— Видите ли, — сказал Седловой, — я хотел бы остаться здесь, чтобы давать пояснения по ходу путешествия. Может быть, кто-нибудь из присутствующих?..

Присутствующие начали жаться. Очевидно, все вспомнили загадочную судьбу путешественника на край плоской земли. Кто-то из магистров предложил отправить дубля. Седловой ответил, что это будет неинтересно, потому что дубли маловосприимчивы к внешним раздражениям и потому будут плохими передатчиками информации. Из задних рядов спросили, какого рода могут быть внешние раздражения. Седловой ответил, что обычные: зрительные, обонятельные, осязательные, акустические. Тогда из задних рядов опять спросили, какого рода осязательные раздражения будут превалировать. Седловой развел руками и сказал, что это зависит от поведения путешественника в тех местах, куда он попадет. В задних рядах произнесли: «Ага...» — И больше вопросов не задавали. Докладчик беспомощно озирался. В зале смотрели кто куда и все в сторону. Магистр-академик добродушно приговаривал: «Ну? Ну что же? Молодежь! Ну? Кто?» Тогда я встал и молча пошел к машине. Терпеть не могу, когда докладчик агонизирует: стыдное, жалкое и мучительное зрелище.

Из задних рядов крикнули: «Сашка, ты куда? Опомнись!» Глаза

Седлового засверкали.

— Разрешите мне, — сказал я.

— Пожалуйста, пожалуйста, конечно! — Забормотал Седловой, хватая меня за палец и подтаскивая к машине.

— Одну минуточку, — сказал я, деликатно вырываясь. — Это надолго?

— Да как вам будет угодно! — Вскричал Седловой. — Как вы мне скажете, так я и сделаю... Да вы же сами будете управлять! Тут все очень просто. — Он снова схватил меня и снова потащил к машине. — Вот это руль. Вот это педаль сцепления с реальностью. Это тормоз. А это газ. Вы автомобиль водите? Ну и прекрасно! Вот клавиша... Вы куда хотите — в будущее или в прошлое?

— В будущее, — сказал я.

— А, — произнес он, как мне показалось, разочарованно. — В описываемое будущее... Это, значит, всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это будущее, наверное, дискретно, там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполненные. Впрочем, все равно... Так вот, эту клавишу вы нажмете два раза. Один раз сейчас, при старте, а второй раз — когда захотите вернуться. Понимаете?

— Понимаю, — сказал я. — А если в ней что-нибудь сломается?

— Абсолютно безопасно! — Он замахал руками. — Как только в ней что-нибудь испортится, хоть одна пылинка попадет между контактами, вы мгновенно вернетесь сюда.

— Дерзайте, молодой человек, — сказал магистр-академик. — Расскажете нам, что же там, в будущем, ха-ха-ха...

Я взгромоздился в седло, стараясь ни на кого не глядеть и чувствуя себя очень глупо.

— Нажимайте, нажимайте... — Страстно шептал докладчик.

Я надавил на клавишу. Это было, очевидно, что-то вроде стартера. Машина дернулась, захрюкала и стала равномерно дрожать.

— Вал погнут, — шептал с досадой Седловой. — Ну ничего, ничего... Включайте скорость. Вот так. А теперь газу, газу...

Я дал газу, одновременно плавно выжимая сцепление. Мир стал меркнуть. Последнее, что я услышал в зале, был благодушный вопрос магистра-академика: «И каким же образом мы будем за ним наблюдать?..» И зал исчез.

Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него.

Г. Дж. Уэллс

Глава 13

Сначала машина двигалась скачками, и я был озабочен тем, чтобы удержаться в седле, обвившись ногами вокруг рамы и изо всех сил цепляясь за рулевую дугу. Краем глаза я смутно видел вокруг какие-то роскошные призрачные строения, мутно-зеленые равнины и холодное, негреющее светило в сером тумане неподалеку от зенита. Потом я сообразил, что тряска и скачки происходят от того, что я убрал ногу с акселератора, мощности двигателя (совсем как это бывает на автомобиле) не хватает, и машина, двигаясь неравномерно, то и дело натыкается на развалины античных и средневековых утопий. Я прибавил газу, и движение сразу стало плавным, и я смог, наконец, устроиться поудобнее и оглядеться.

Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи. Все, как один, они читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позы и начали говорить. Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в правой руке лопату, а в левой сжимал свиток пергамента. Другой опирался на киркомотыгу и рассеянно играл огромной медной чернильницей, подвешенной к поясу. Говорили они строго по очереди, и, как мне сначала показалось, друг с другом. Но очень скоро я понял, что обращаются они ко мне, хотя ни один из них даже не взглянул в мою сторону. Я прислушался. Тот, что был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства той страны, гражданином коей он являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. Когда он останавливался, чтобы передохнуть и облизать губы, вступал тот, что с чернильницей. Он хвастался, будто только что отработал свои три часа перевозчиком на реке, не взял ни с кого ни копейки, потому что не знает, что такое деньги, а сейчас отправляется под сень струй предаться наслаждению.

Говорили они долго — судя по спидометру, в течение нескольких лет, — а потом вдруг сразу исчезли, и стало пусто. Сквозь призрачные здания просвечивало неподвижное солнце. Неожиданно невысоко над землей медленно проплыли тяжелые летательные аппараты с перепончатыми, как у птеродактилей, крыльями. В первый момент мне показалось, что все они горят, но затем я заметил, что дым у них идет из больших конических труб. Грузно размахивая крыльями, они летели надо мной, посыпалась зола, и кто-то уронил на меня сверху суковатое полено.

В роскошных зданиях вокруг меня начали происходить какие-то изменения. Колонн у них не убавилось, и архитектура осталась по-прежнему роскошной и нелепой, но появились новые расцветки, и мрамор, по-моему, сменился каким-то более современным материалом, а вместо слепых статуй и бюстов на крышах возникли поблескивающие устройства, похожие на антенны радиотелескопов. Людей на улицах стало больше, появилось огромное количество машин. Исчезли стада с читающими пастухами, однако хлеба все колыхались, хотя ветра по-прежнему не было. Я нажал на тормоз и остановился.

Оглядевшись, я понял, что стою с машиной на ленте движущегося тротуара. Народ вокруг так и кишел — самый разнообразный народ. В большинстве своем, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило. Машины меня мало заинтересовали, наверное, потому, что на лобовой броне каждой сидел вдохновенный до полупрозрачности изобретатель, пространно объяснявший устройство и назначение своего детища. Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, ни к кому в особенности и не обращались.

На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил , что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда, в костюмах странного покроя, и то тут, то там проталкивался через толпу загорелый бородатый мужчина в незапятнанно-белой хламиде с кетменем или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид вид был растерянный, они шарахались от многоногих механизмов и затравленно озирались.

Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.

Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопание это напоминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала.

Скоро я понял, что одна половина толпы расставалась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины отправлялись в космос — кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые, с совсем уже отрешенными лицами, собирались к другим звездам и даже в центр Галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли пантеоном, а другие рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя. Опоздай я на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячу лет женщины. Потом мое внимание привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы черного дыма.

— Что это там? — Спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к пантеону-рефрижератору.

— Железная стена, — ответила она, не останавливаясь. С каждой минутой мне становилось все скучнее и скучнее. Все вокруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкой в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль...» Юноша внимал. Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над городом с ревом взлетели звездолеты, планетолеты, астропланы, ионолеты, фотонолеты, и астроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфоресцирующим туманом.

После двухтысячного начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарева. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на площади становилось все меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым.

Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались. Шумных парней в комбинезонах не было. Никто не чертыхался. По улицам по двое и по трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скудно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то собирались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления верзиле биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались провертеть дыру сквозь Землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа, чертежи рисовали мелком на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалась такая скучища, да еще пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я взвалил машину на плечи и пошел прочь. Меня не удивило, что обсуждение проекта сейчас же прекратилось и все занялись делом. Но зато, едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределенной профессии. Ни к селу ни к городу он повел речь о музыке. Сразу понабежали слушатели. Они смотрели ему в рот и задавали вопросы, свидетельствующие о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был «самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились и... Ой-ой, он меня сейчас расчленит!..» Странно, никто даже бровью не повел. Видимо, никто не верил в бунт машин.

Из переулка выскочили еще две паукообразные металлические машины, ростом поменьше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было собрался уезжать, но тут раздался громовой треск и с неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили:

— Это «Звезда мечты»!

— Да, это она!

— Ну конечно, это она! Это она стартовала двести восемнадцать лет тому назад, о ней уже все забыли, но благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года!

— Благодаря чему? Ах, Эйнштейн... Да-да, помню. Я проходил это в школе во втором классе.

Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги.

— Это Земля? — Раздраженно спросил он.

— Земля! Земля! — Откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки.

— Слава богу, — сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают.

Увечный астролетчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал все человечество поголовно лететь на планету Хош-ни-хош системы звезды Эоэллы в малом магеллановом облаке освобождать братьев по разуму, стенающих (он так и сказал: стенающих) под властью свирепого кибернетического диктатора. Рев дюз заглушил его слова. На площадь спускались еще две ракеты, тоже ржавые. Из пантеона-рефрижератора побежали заиндевевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.

Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Странное это было зрелище: совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, загорелся яркий свет, и я сейчас же остановился.

Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена.

Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами.

— Тебе что, малыш? — Спросил я.

— Твой аппарат поврежден? — Осведомился он мелодичным голосом.

— Взрослым надо говорить «вы», — сказал я наставительно. Он очень удивился, потом лицо его просветлело. — Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в эпоху принудительной вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением.

Я не нашелся, что ответить, и тогда он присел на корточки перед машиной, потрогал ее в разных местах и произнес несколько слов, которых я совершенно не понял. Славный это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне слишком уж серьезным для своих лет.

За стеной оглушительно затрещало, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла.

— Слушай, малыш, — сказал я, — что это за стена? Он обратил на меня серьезный застенчивый взгляд.

— Это так называемая железная стена, — ответил он. — К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — мир гуманного воображения и мир страха перед будущим. — Он помолчал и добавил: — этимология слова «страх» мне тоже неизвестна.

— Любопытно, — сказал я. — А нельзя ли посмотреть? Что это за мир страха?

— Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство.

Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед:

— Не могу не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом ста сорока миров.

Я приоткрыл дверцу. Тррах! Бах! Уау! Аи-и-и-и! Ду-ду-ду-ду-ду! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир — прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой Объединенный Совет, и бросился к машине.

Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня. Но я не отрывал глаз от железной стены, меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперед сразу на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застонал от разочарования.

Невдалеке высился громадный пантеон-рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолет в виде шара. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге пантеона появилась, вся в красных пятнах пролежней, девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза — мне стало неловко. Голубой пилот и розовая девушка затянули речь.

Чтобы размять ноги, я сошел с машины и только тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре.

По ту сторону стены простиралось совершенно ровное поле, рассеченное до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта гарцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплевывая, и глядел на меня без особого интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек.

Насмотревшись на меня, он достал плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, сплюнул в ров и сказал хриплым голосом:

— Хэлло! Ю фром зэт сайд? (Привет! Вы с той стороны?)

— Да, — ответил я. — То есть йес.

— Энд хау из ит гоуинг он аут зэа? (Ну и как там?)

— Со-со, — сказал я, прикрывая дверь. — Энд хау из ит гоуинг он хиа? (Ничего. А здесь?)

— Итс оъкей, — сказал он флегматично и замолчал. (Порядок...)

Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает. Сначала он отвечал неохотно, но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доживает последние дни под пятой свирепых роботов. Роботы там сделались умнее людей, захватили власть, пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территории, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей Вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и вовсю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы — дай бог всякому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Альтаира, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно. Еще дальше к западу находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство наместник кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического Императора А-У 3562-го. Есть еше области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами. И наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет...

Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы. «Опять началось», — проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, гарцующим на горизонте. Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках пантеона все никак не могли покончить со своим диалогом. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу: над равниной медленно вспухали огненные шары разрывов. Металлические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные, оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами, он орал и отмахивался автоматом...

Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов.

Я вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать еще на миллионы лет вперед и посмотреть умирающую землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило: не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всех сил, что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня.

— Что со сцеплением? — Спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.

— Это неважно! — Закричал Луи Седловой. — Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили... А как было интересно, верно, товарищи?

Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно.

— Но я все это где-то читал, — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.

— Ну, а как же! А как же! — Вскричал Л. Седловой. — Ведь он же был в описываемом будущем!

— Приключений маловато, — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. — Все разговоры, разговоры...

— Ну, уж тут я ни при чем, — сказал Седловой решительно.

— Ничего себе — разговоры, — сказал я, слезая со стенда. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо.

— Нет, отчего же, — сказал какой-то бакалавр. — Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина... Помните? На тригенных куаторах... Это, знаете ли, да...

— Нуте-с? — Сказал Пупков-Задний. — У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?

Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче (его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения), и я потихонечку удалился.

У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, а трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшенная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам, он не помавал руками и не принимал академических поз.

Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвой белесой пленкой.

— Что это с ним? — Спросил я.

— Не знаю, — сказал Роман. — Издох, как видишь.

— Откуда у тебя попугай?

— Сам поражаюсь, — сказал Роман.

— Может быть, он искусственный? — Предположил я.

— Да нет, попугай как попугай.

— Опять, наверное, Витька на умклайдет сел.

Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко.

— «Фотон», — прочитал Роман. — И еще какие-то цифры... «Девятнадцать ноль пять семьдесят три».

— Так, — сказал сзади знакомый голос.

Мы обернулись и подтянулись.

— Здравствуйте, — сказал у-Янус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.

— Здравствуйте, Янус Полуэктович, — сказали мы хором со всей возможной почтительностью.

Янус увидел попугая и еще раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил:

— Что же это ты, фотончик?..

Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик.

— Роман Петрович, — сказал он. — Будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник.

Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. У-Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждет его у себя через полчаса, и ушел.

— Странно, — сказал Роман, глядя ему вслед.

— Что — странно? — Спросил я.

— Все странно, — сказал Роман.

Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеиванием пепла по ветру, но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешенным взглядом, невпопад кивал, а потом вдруг, сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся копаться в мятой бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил:

— А этот Седловой не пытался путешествовать в описываемое *настоящее*? По-моему, это было бы гораздо забавнее..

Пока я обдумывал это предложение и радовался романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол.

— В чем дело? — Спросил я. — Диссертацию потерял?

— Ты понимаешь, Сашка, — сказал он, глядя на меня невидящими глазами, — удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет.

— Чье перо? — Спросил я.

— Ты понимаешь, зеленые птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого только что сожгли, был зеленым.

— Что за ерунда, — сказал я. — Ты же нашел перо вчера.

— В том-то и дело, — сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.

Стихи ненатуральны, никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком, или объявления о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.

Ч. Диккенс.

Глава 14

«Алдан» чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Кристобаля Хозевича. Они называли его скифом, варваром и гунном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный — Саваоф Баалович Один, — и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф Баалович вникает в суть разрушений.

Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной, с гладко выбритыми щеками, в ослепительно белом чесучовом костюме. К этому человеку все относились с большим пиететом. Я сам однажды видел, как он выговаривал за что-то Модесту Матвеевичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонясь перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь... Виноват. Больше не повторится...» От Саваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрямляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом. Во всяком случае, практикующимся магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела технического обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом китежградского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами.

Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С.Б. Один был ведущим магом Земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину *стал* всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения высшего совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова-Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третьи — их совсем немного — могут, скажем, останавливать время, но только в Римановом пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович был всемогущ. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С.Б. Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом технического обслуживания НИИЧАВО...

С его приходом дела инженеров живо пошли на лад. Движения их стали осмысленны, злобные остроты прекратились. Я достал папку с очередными делами и принялся было за работу, но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая и сероглазая ведьмочка, практикантка Выбегаллы, и позвала меня делать очередную стенгазету.

Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крылышками. Вообще-то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником — Володя Почкин.

— Саша, — сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами.

— Пойдем.

— Куда? — Сказал я. Я знал куда.

— Газету делать.

— Зачем?

— Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорит, осталось два дня, а ничего не готово.

Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором.

— Слушай, — сказал я, — давай завтра, а?

— Завтра я не смогу, — сказала Стеллочка. — Завтра я улетаю в Сухуми. Павианов записывать. Выбегалло говорит, что надо вожака записать, как самого ответственного... Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. Пойдем, Саша, а?

Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стеллочка. Она всегда дает первую строку и основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное.

— Где будем делать? — Спросил я по дороге. — В месткоме?

— В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда. За чай. А нас пустил к себе Роман.

— А о чем писать надо? Опять про баню?

— Про баню тоже есть. Про баню, про Лысую гору. Хому Брута надо заклеймить.

— Хома наш Брут — ужасный плут, — сказал я.

— И ты, Брут, — сказала Стелла.

— Это идея, — сказал я. — Это надо развить.

В лаборатории Романа на столе была разложена газета — огромный девственно чистый лист ватмана. Рядом с нею среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик.

— Здорово, — сказал я.

— Привет, — сказал Саня.

Гремела музыка — Саня крутил портативный приемник.

— Ну что тут у вас? — Сказал я, сгребая заметки.

Заметок было немного. Была передовая «Навстречу празднику». Была заметка кербера псоевича «Результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого — начало второго квартала». Была статья профессора Выбегаллы «Наш долг — это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами». Была статья Володи Почкина «О всесоюзном совещании по электронной магии». Была заметка какого-то домового «Когда же продуют паровое отопление на четвертом этаже». Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса» — шесть машинописных страниц через один интервал. Начиналась она словами: «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка Романа о работах отдела недоступных проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобаля Хунты «От Севильи до Гренады. 1547 г.». Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось: отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи; наличие безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины; допущение азартных игр в виварии. Было несколько карикатур. На одной изображался Хома Брут, расхлюстанный и с лиловым носом. На другой высмеивалась баня — был нарисован голый синий человек, застывающий под ледяным душем.

— Ну и скучища! — Сказал я. — А может, не надо стихов?

— Надо, — сказала Стеллочка со вздохом. — Я уже заметки и так и сяк раскладывала, все равно остается свободное место.

— А пусть Саня там чего-нибудь нарисует. Колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки... А, Санька?

— Работайте, работайте, — сказал Дрозд. — Мне заголовок писать.

— Подумаешь, — сказал я. — Три слова написать.

— На фоне звездной ночи, — сказал Дрозд внушительно. — И ракету. Еще заголовки к статьям. А я не обедал еще. И не завтракал.

— Так сходи поешь, — сказал я.

— А мне не на что, — сказал он раздраженно. — Я магнитофон купил. В комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов. С маслом и вареньем. Или, лучше десятку сотворите.

Я вынул рубль и показал ему издали.

— Вот заголовок напишешь — получишь.

— Насовсем? — Живо сказал Саня.

— Нет. В долг.

— Ну, это все равно, — сказал он. — Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы. И холодеют конечности.

— Врет он все, — сказала Стелла. — Саша, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем.

Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом Стелла произнесла:

— Таких людей, как этот Брут, поберегись — они сопрут!

— Что сопрут? — Спросил я. — Он разве что-нибудь спер?

— Нет, — сказала Стелла. — Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы.

Мы снова подождали. Ничего, кроме «Поберегись — они сопрут», в голову мне не лезло.

— Давай рассуждать логически, — сказал я. — Имеется Хома Брут. Он напился пьяный. Дрался. Что он еще делал?

— К девушкам приставал, — сказала Стелла. — Стекло разбил.

— Хорошо, — сказал я. — Еще?

— Выражался...

— Вот странно, — подал голос Саня Дрозд. — Я с этим Брутом работал в кинобудке. Парень как парень. Нормальный...

— Ну? — Сказал я.

— Ну и все.

— Ты рифму можещь дать на «Брут»? — Спросил я.

— Прут.

— Уже было, — сказал я. — Спрут.

— Да нет. Прут. Палка такая, которой секут.

Стелла сказала с выражением:

— Товарищ, пред тобою Брут. Возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут.

— Не годится, — сказал Дрозд. — Пропаганда телесных наказаний.

— Помрут, — сказал я. — Или просто — мрут.

— Товарищ, пред тобою Брут, — сказала Стелла. — От слов его все мухи мрут.

— Это от ваших стихов все мухи мрут, — сказал Дрозд.

— Ты заголовок написал? — Спросил я.

— Нет, — сказал Дрозд кокетливо.

— Вот и займись.

— Позорят славный институт, — сказала Стелла, — такие пьяницы, как Брут.

— Это хорошо, — сказал я. — Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль, свежая и оригинальная.

— Чего же в ней оригинального? — Спросил простодушный Дрозд.

Я не стал с ним разговаривать.

— Теперь надо описать, — сказал я, — как он хулиганил. Скажем, так. Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек, стал хулиган.

— Ужасно, — сказала Стелла с отвращением.

Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило.

— Коленками назад! — Сказал я. — Песенка!

— «Сидел кузнечик маленький коленками назад», — сказала Стелла.

— Точно, — сказал Дрозд, не оборачиваясь. — И я ее знаю. «Все гости расползалися коленками назад», — пропел он.

— Подожди, подожди, — сказал я. Я чувствовал вдохновение. — Дерется и бранится он, и вот вам результат: влекут его в милицию коленками назад.

— Это ничего, — сказала Стелла.

— Понимаешь? — Сказал я. — Еще пару строф, и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Упился сверх кондиции... Погнался за девицею... Что-нибудь вроде этого.

— Отчаянно напился он, — сказала Стелла. — Сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад.

— Блеск! — Сказал я. — Записывай. А он вламывался?

— Вламывался, вламывался.

— Отлично! — Сказал я. — Ну, еще одну строфу.

— Погнался за девицею коленками назад, — сказала Стелла задумчиво. — Первую строчку нужно...

— Амуниция, — сказал я. — Полиция. Амбиция. Юстиция.

— Ютится он, — сказала Стелла. — Стремится он. Не бриться и не мыться...

— Он, — добавил Дрозд. — Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся.

— Может, вторую строчку придумаем? — Предложила Стелла. — Назад-аппарат-автомат...

— Гад, — сказал я. — Рад.

— Мат, — сказал Дрозд. — Шах, мол, и мат.

Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.

— Играет и резвится он, — сказал я наконец, — ругаясь как пират. Погнался за девицею коленками назад.

— Пират — как-то... — Сказала Стелла.

— Тогда: сам черт ему не брат.

— Это уже было.

— Где?.. Ах да, действительно было.

— Как тигра полосат, — предложил Дрозд.

Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась.

— Смотри-ка! — Изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке.

В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.

— Попугайчик! — Воскликнул Дрозд. — Попугай! Цып-цып-цып-цып...

Он стал делать пальцами движения, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул:

— Р-реактор! Р-реактор! Надо выдер-ржать!

— Какой сла-авный! — Воскликнула Стелла. — Саня, поймай его...

Дрозд двинулся было к попугаю, но остановился.

— Он же, наверное, кусается, — опасливо произнес он. — Вон клюв какой.

Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. Полным-полно попугаев, подумал я.

Дрозд отмахнулся кисточкой.

— Еще долбанет, пожалуй, — сказал он.

Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул:

— Пр-роксима Центавр-р-ра! Р-рубидий! Р-рубидий!

Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку.

— По-моему, он больной, — сказал Дрозд. Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть.

— Ребята, — сказал я, — кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?

Стелла помотала головой. Дрозд пожал плечами.

— Что-то слишком много попугаев за последнее время, — сказал я. — И вчера вот тоже...

— Наверное, Янус экспериментирует с попугаями, — сказала Стелла. — Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде...

Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев, Эдик Амперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принялся листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактора, исполняющий в основном полицейские обязанности, схатил Дрозда за толстый загривок, согнул его пополам и принялся тыкать носом в газету, приговаривая: «Заголовок где? Где заголовок, Дроздилло?» Роман потребовал от нас готовых стихов. А Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и принялся с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Овер-рсан! Овер-рсан!» — И все замерли.

Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил Дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай!» Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост.

— Оставь, Витька! — Закричала Стелла сердито. — Что за манера — мучить животных?

Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его, как голубя, Стелла гладила по хохолку, а Дрозд нежно перебирал перья в хвосте. Роман посмотрел на меня.

— Любопытно, — сказал он. — Правда?

— Откуда он здесь взялся, Саша? — Вежливо спросил Эдик.

Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса.

— Зачем Янусу попугай? — Осведомился Эдик.

— Ты это меня спрашиваешь? — Сказал я.

— Нет, это вопрос риторический, — серьезно сказал Эдик.

— Зачем Янусу два попугая? — Сказал я. — Или три, — тихонько добавил Роман. Корнеев обернулся к нам.

— А где еще? — Спросил он, с интересом озираясь. Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть его за палец.

— Отпусти ты его, — сказал я. — Видишь, ему нездоровится. Корнеев отпихнул Дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья.

— Бог с ним, — сказал Роман. — Потом разберемся. Где стихи?

Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок, Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал:

— Расстрелять. Из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи?

— Пиши сам, — сказал я сердито.

— Я писать стихи не могу, — сказал Корнеев. — По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский.

— Ты по натуре кадавр, — сказала Стелла.

— Пардон! — Потребовал Витька. — Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю! Я вам еще припомню ваше творение про дачи.

— Какое? — Спросил Эдик.

Корнеев немедленно процитировал:

— «Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача! Только местный комитет не дает пока ответ». Было? Признавайтесь!

— Мало ли что, — сказал я. — У Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют.

— А я знаю, — сказал Дрозд.

Роман повернулся к нему.

— У нас будет сегодня заголовок или нет?

— Будет, — сказал Дрозд. — Я уже букву «к» нарисовал.

— Какую «к»? При чем здесь «к»?

— А что, не надо было?

— Я сейчас умру, — сказал Роман. — Газета называется «За передовую магию». Покажи мне там хоть одну букву «к»!

Дрозд уставясь в стену, пошевелил губами.

— Как же так? — Сказал он наконец. — Откуда же я взял букву «к»? Была же буква «к»!

Роман рассвирипел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «к» в стилизованную букву «з». Эдик Амперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман принялся расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечи.

Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему: «В нашей бане завсегда льет холодная вода», «Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной», «В институте двести душ, все хотят горячий душ» — и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина! — Втолковывал он нам. — Или хотя бы у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему... «Вот по дороге едет ЗИЛ, и я им буду задавим...» Какая физическая сила заключена в этих строках! Какая ясность чувства!» Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «и» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и опробовал его на романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятия, искал на машинке букву «ц». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал:

— Сашка, глянь-ка сюда.

Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис.

— Помер, — сказал Дрозд жалостливо.

Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особенных мыслей в голове, а если и были, то где-то в подсознании, но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы. И сейчас же Роман спросил меня:

— Есть?

— Есть, — сказал я.

На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано: «Фотон», — и стояли цифры: «190573». Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал:

— А ну, рассказывайте, что вам известно.

— Расскажем? — Спросил Роман.

— Бред какой-то, — сказал я. — Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли.

Роман снова внимательно осмотрел трупик.

— Да нет, — сказал он. — В том-то все и дело. Это не дубль. Это самый что ни на есть оригинальный оригинал.

— Дай посмотреть, — сказал Корнеев.

Втроем с Володей Почкиным и Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль и что они не понимают, почему это нас так трогает. «Возьмем, скажем, меня, — предложил Корнеев. — Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает?»

Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стеллу, открывавшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку и рассказал им про все — про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора; и про то, как этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе (на этом самом столе) объявился мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль; и про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку.

Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сырбор, и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлестче. Стеллочка тоже казалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал:

— Врете. Причем неумело.

— Это все-таки не тот попугай, — сказал вежливый Эдик. — Вы, наверное, ошиблись.

— Да тот, — сказал я. — Зеленый, с колечком.

— Фотон? — Спросил Володя Почкин прокурорским голосом.

— Фотон. Янус его фотончиком называл.

— А цифры? — Спросил Володя.

— И цифры.

— Цифры те же? — Спросил Корнеев грозно.

— По-моему, те же, — ответил я нерешительно, оглядываясь на Романа.

— А точнее? — Потребовал Корнеев. Он прикрыл красной лапой попугая. — Повтори, какие тут цифры?

— Девятнадцать... — Сказал я. — Э-э... Ноль два, что ли? Шестьдесят три.

Корнеев заглянул под ладонь.

— Врешь, — сказал он. — Ты? — Обратился он к Роману.

— Не помню, — сказал Роман спокойно. — Кажется, не ноль три, а ноль пять.

— Нет, — сказал я. — Все-таки ноль шесть. Я помню, там такая закорючка была.

— Закорючка, — сказал Почкин презрительно. — Ше Холмсы! Нэ Пинкертоны! Закон причинности им надоел...

Корнеев засунул руки в карманы.

— Это другое дело, — сказал он. — Я даже не настаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугаи все зеленые, многие из них окольцованы, эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая. Как у всех стихоплетов и редакторов плохих стенгазет.

— Дырявая? — Осведомился Роман.

— Как терка.

— Как терка? — Повторил Роман, странно усмехаясь.

— Как старая терка, — пояснил Корнеев. — Ржавая. Как сеть. Крупноячеистая.

Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы.

— Итак, — сказал он, — крупноячеистая и ржавая. Посмотрим... Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — прочитал он.

Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском столкнулись лбами.

— Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев. Это было очень эффектно. Стелла немедленно завизжала от удовольствия.

— Подумаешь, — сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка. — У меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу получать автомобиль. А потом оказалось...

— Почему это ты записал номер? — Сказал Корнеев, прищурившись на Романа. — Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?

— Блестяще! — Сказал Почкин. — Витька, ты молодец. Ты попал в самую точку. Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!

— Идиоты! — Сказал Роман. — Что я вам — Выбегалло?

Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши.

— Иди к дьяволу! — Сказал Роман. — Саша, ты только полюбуйся на них!

— Ребята, — сказал я укоризненно, — да кто же так шутит? За кого вы нас принимаете?

— А что остается делать? — Сказал Корнеев. — Кто-то врет. Либо вы, либо законы природы. Все остальное меняется. Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок. Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик.

— Если даже никакие законы не нарушаются, — рассудительно сказал он, — все равно остается странным неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?

— Кажется, — сказал я.

— И мне тоже кажется, — сказал Эдик. — Чем он, собственно, занимается, Роман?

— Смотря какой Янус. У-Янус занимается связью с параллельными пространствами.

— Гм, — сказал Эдик. — Это нам вряд ли поможет.

— К сожалению, — сказал Роман. — Я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом, — и ничего не могу придумать.

— Но ведь он странный человек? — Сказал Эдик.

— Да, несомненно. Начать с того, что их двое и он один. Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом...

— Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть одну какую-нибудь странность.

— Странность номер один, — сказал я. — Любовь к умирающим попугаям.

— Пусть так, — сказал Эдик. — Еще?

— Сплетники, — сказал Дрозд с достоинством. — Вот я у него однажды просил в долг.

— Да? — Сказал Эдик.

— И он мне дал, — сказал Дрозд. — А я забыл, сколько он мне дал. Теперь не знаю, что делать.

Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал:

— Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через пять минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода?

— Истинно так, — сказал Роман. — Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствием сильной контузии.

— Память у него никуда не годится, — сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями и швырнул его под стол. — Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся.

— И о чем беседовал, если виделся, — добавил я.

— Память, память, — пробормотал Корнеев нетерпеливо. — При чем здесь память? Мало ли у кого плохая память... Не в этом дело. Что там у него с параллельными пространствами? ..

— Сначала надо собрать факты, — сказал Эдик.

— Попугаи, попугаи, попугаи, — продолжал Витька. — Неужели все-таки дубли?

— Нет, — сказал Володя Почкин. — Я просчитал, это по всем категориям не дубль.

— Каждую полночь, — сказал Роман, — он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь...

— И что? — Спросила Стелла замирающим голосом.

— Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном.

— Я пошел, — сказал Корнеев, поднимаясь.

— И я, — сказал Эдик. — У нас сейчас семинар.

— И я, — сказал Володя Почкин.

— Нет, — сказал Роман. — Ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Сашу и пиши стихи. А вот я пойду. Вернусь вечером, и чтобы газета была готова.

Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае.

Когда Роман вернулся, газета была готова, Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно.

— Молодцы, — сказал Роман. — Отличная газета. А какой заголовок! Какое бездонное звездное небо! И как мало опечаток!.. А где попугай?

Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило.

— Кто его сюда положил? — Осведомился Роман.

— Я, — сказал Дрозд. — А что?

— Нет, ничего, — сказал Роман. — Пусть лежит. Правда, Саша?

Я кивнул.

— Посмотрим, что с ним будет завтра, — сказал Роман.

Эта бедная старая невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит.

Р. Стивенсон

Глава 15

Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. «Алдан» был починен и готов к бою, и, когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Кристобаля Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. (Почерк у Кристобаля Хозевича был действительно неудобочитаем; Хунта писал по-русски готическими буквами.) Дубль Федора Симеоновича принес программу, составленную лично Федором Симеоновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Симеонович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она грамотно, экономично и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбозавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его.

— Да неудобно как-то, — бормотал он, опасливо косясь на дублей. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, это не товарищи, — успокоил я его.

— Ну граждане...

— И не граждане.

Бухгалтер совсем побледнел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом:

— То-то же я смотрю — не мигают оне... А вот этот в синем — он, по-моему, и не дышит...

Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман.

— Саша?

— Да.

— А попугая-то нет.

— Как так нет?

— А вот так.

— Уборщица выбросила?

— Спрашивал. Не только не выбрасывала, но и не видела.

— Может быть, домовые хамят?

— Это в лаборатории-то директора? Вряд ли.

— Н-да, — сказал я. — А может быть, сам Янус?

— Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся из Москвы.

— Так как же это все понимать? — Спросил я.

— Не знаю. Посмотрим.

Мы помолчали.

— Ты меня позовешь? — Спросил я. — Если что-нибудь интересное...

— Ну конечно. Обязательно. Пока, дружище.

Я заставил себя не думать об этом попугае, до которого мне в конце концов не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне. Эту задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но посоветовался с Хунтой, который в таких вещах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал, а вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и, блаженствуя, откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от злости Хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. Это чрезвычайно напоминает ему саботаж, сообщил он.

Я с умилением смотрел на него.

— Кристобаль Хозевич, — сказал я. — Я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным.

Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал:

— Позвольте посмотреть.

Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам.

— У нас с вами неплохие головы, Алехандро, — сказал, наконец, Хунта. — В нас есть артистичность мышления. Как вы находите?

— По-моему, мы молодцы, — сказал я искренне.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюки-невидимки.

Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу Хунты, и очень скоро он сказал, что и раньше иногда считал себя Побрекито, а в том, что я математически невежествен, убедился при первой же встрече. Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо в три шеи гнать из института грузить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит пустить на удобрения, а меня на километр не подпускать к лесоразработке, где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим, а назначить учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках. Мы сидели, подперев головы, и предавались самоуничижению, когда в зал заглянул Федор Симеонович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе.

— Программа! — Желчно усмехнувшись, произнес Хунта. — Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим... — Он с отвращением подал двумя пальцами Федору Симеоновичу листок со своей задачей. — Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества.

— Г-голубчики, — сказал Федор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках. — Это же п-проблема Бен Б-бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения.

— Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. — Мы хотим знать, как ее решать.

— К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо... К-как же искать решение, к-когда его нет? Б-бессмыслица какая-то...

— Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, не доступен. По-видимому, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему.

Тон Кристобаля Хозевича был необычайно оскорбителен, и Федор Симеонович рассердился.

— В-вот что, г-голубчик, — сказал он. — Я не-не могу дискутировать с т-тобой в этом тоне п-при молодом человеке. Т-ты меня удивляешь. Это н-неп-педагогично. Если тебе угодно п-продолжать, изволь выйти со мной в к-коридор.

— Изволь, — отвечал Хунта, распрямляясь как пружина и судорожно хватая у бедра несуществующий эфес.

Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову, над оставленным листком и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче рокочет бас Федора Симеоновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобаля Хозевича. Потом Федор Симеонович взревел: «Извольте пройти в мой кабинет!» — «Извольте!» — Проскрежетал Хунта. Они уже были на «вы», и голоса удалились. «Дуэль! Дуэль!» — Защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бретера и забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Маре скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Симеоновича можно было быть спокойным. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол, потом Федор Симеонович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиром блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Симеонович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию: «Свежих огурчиков!»

В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх.

В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его глодала мигрень. А Витька, верхом на стуле, раскачивался как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза.

— Тот самый? — Спросил я вполголоса.

— Тот самый, — сказал Роман.

— Фотон? — Я тоже почувствовал себя неважно.

— Фотон.

— И номер совпадает?

Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом:

— Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера.

— Хотите, я за Бремом сбегаю? — Предложил я.

— Где покойник? — Спросил Роман. — Вот с чего нужно начинать! Слушайте, детективы, где труп?

— Тр-руп! — Рявкнул попугай. — Цер-ремония! Тр-руп за бор-рт! Р-рубидий!

— Черт знает что он говорит, — сказал Роман с сердцем.

— Труп за борт — это типично пиратское выражение, — пояснил Эдик.

— А рубидий?

— Р-рубидий! Резер-рв! Огр-ромен! — Сказал попугай.

— Резервы рубидия огромны, — перевел Эдик. — Интересно, где?

Я наклонился и стал разглядывать колечко.

— А может быть, это все-таки не тот?

— А где тот? — Спросил Роман.

— Ну, это другой вопрос, — сказал я. — Давай сначала решим вопрос: тот или не тот?

— По-моему, тот, — сказал Эдик.

— А по-моему, не тот, — сказал я. — Вот здесь на колечке царапина, где тройка...

— Тр-ройка! — Произнес попугай. — Тр-ройка! Кр-руче вправо! Смер-рч! Смер-рч!

Витька вдруг встрепенулся.

— Есть идея, — сказал он.

— Какая?

— Ассоциативный допрос.

— Как это?

— Погодите. Сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?

— Есть диктофон.

— Давай сюда. Только все молчите. Я его сейчас расколю, прохвоста. Он у меня все скажет.

Витька подтащил стул, сел с диктофоном в руке напротив попугая, нахохлился, посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул:

— Р-рубидий!

Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался:

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

Мы переглянулись.

— Р-резерв! — Гаркнул Витька.

— Огр-ромен! Гр-руды! Гр-руды! Р-ричи пр-рав! Р-ричи пр-рав! Р-роботы!

— Роботы!

— Кр-рах! Гор-рят! Атмосфер-ра гор-рит! Пр-рочь! Др-рамба, пр-рочь!

— Драмба!

— Р-рубидий! Р-резерв!

— Рубидий!

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

— Замыкание, — сказал Роман. — Круг.

— Погоди, погоди, — бормотал Витька. — Сейчас...

— Побробуй что нибудь из другой области, — посоветовал Эдик.

— Янус! — Сказал Витька.

Попугай открыл клюв и чихнул.

— Я-нус, — повторил Витька строго.

Попугай задумчиво смотрел в окно.

— Буквы «р» нет, — сказал я.

— Пожалуй, — сказал Витька. — А ну-ка... Невстр-руев!

— Пер-рехожу на пр-рием! — Сказал попугай. — Чар-родей! Чар-родей! Говор-рит кр-рыло, говор-рит кр-рыло!

— Это не пиратский попугай, — сказал Эдик.

— Спроси его про труп, — попросил я.

— Труп, — неохотно сказал Витька.

— Цер-ремония погр-ребения! Вр-ремя огр-раничено! Р-речь! Р-речь! Тр-репотня! Р-работать! Р-работать!

— Любопытные у него были хозяева, — сказал Роман. — Что же нам делать?

— Витя, — сказал Эдик. — У него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное.

— Водородная бомба, — сказал Витька.

Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв.

— Паровоз! — Сказал Витька.

Попугай промолчал.

— Да, не получается, — сказал Роман.

— Вот дьявол, — сказал Витька. — Ничего не могу придумать обыденного с буквой «р». Стул, стол, потолок... Диван... О! Тр-ранслятор!

Попугай поглядел на Витьку одним глазом.

— Кор-рнеев, пр-рошу!

— Что? — Спросил Витька. Впервые в жизни я видел, что Витька растерялся.

— Кор-рнеев гр-руб! Гр-руб! Пр-рекрасный р-работник! Дур-рак р-редкий! Пр-релесть!

Мы захихикали. Витька посмотрел на нас и мстительно сказал:

— Ойр-ра-Ойр-ра!

— Стар-р, стар-р! — С готовностью откликнулся попугай. — Р-рад! Дор-рвался!

— Это что-то не то, — сказал Роман.

— Почему же не то? — Сказал Витька. — Очень даже то... Пр-ривалов!

— Пр-ростодушный пр-роект! Пр-римитив! Тр-рудяга!

— Ребята, он нас всех знает, — сказал Эдик.

— Р-ребята, — отозвался попугай. — Зер-рнышко пер-рцу! Зер-ро! Зер-ро! Гр-равитация!

— Амперян, — торопливо сказал Витька.

— Кр-рематорий! Безвр-ременно обор-рвалась! — Сказал попугай, подумал и добавил: — ампер-метр!

— Бессвязица какая-то, — сказал Витька.

— Бессвязиц не бывает, — задумчиво сказал Роман.

Витька, щелкнув замочком, открыл диктофон.

— Лента кончилась, — сказал он. — Жаль.

— Знаете что, — сказал я, — по-моему, проще всего спросить у Януса. Что это за попугай, откуда он и вообще...

— А кто будет спрашивать? — Осведомился Роман.

Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и мы согласились. Все это звучало очень странно. При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда реплики вроде: «Др-рамба игнор-рирует ур-раган», «пр-равильно» и «Кор-рнеев гр-руб». Когда запись кончилась, Эдик сказал:

— В принципе можно было бы составить лексический словарь и проанализировать его на машине. Но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает. Это уже удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает про роботов. И про рубидий. Кстати, где употребляется рубидий?

— У нас в институте, — сказал Роман, — он, во всяком случае, нигде не употребляется.

— Это что-то вроде натрия, — сказал Корнеев.

— Рубидий — ладно, — сказал я. — Откуда он знает про лунные кратеры?

— Почему именно про лунные?

— А разве на земле горы называют кратерами?

— Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а во-вторых, кратер — это не гора, а скорее дыра.

— Дыр-ра вр-ремени, — сообщил попугай.

— У него любопытнейшая терминология, — сказал Эдик. — Я никак не могу назвать ее общеупотребительной.

— Да , — согласился Витька. — Если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами.

— Стр-раный ор-рбитальный пер-реход, — сказал попугай.

— Янус не занимается космосом, — сказал Роман. — Я бы знал.

— Может быть, раньше занимался?

— И раньше не занимался.

— Роботы какие-то, — с тоской сказал Витька. — Кратеры... При чем здесь кратеры?

— Может быть, Янус читает фантастику? — Предположил я.

— Вслух? Попугаю?

— Н-да...

— Венера, — сказал Витька, обращаясь к попугаю.

— Р-роковая стр-расть, — сказал попугай. Он задумался и пояснил: — р-разбился. Зр-ря.

Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег щекой на стул и закрыл глаза.

— А как он здесь появился? — Сказал я.

— Как вчера, — сказал Роман. — Из лаборатории Януса.

— Вы это сами видели?

— Угу.

— Я одного не понимаю, — сказал я. — Он умирал или не умирал?

— А мы откуда знаем? — Сказал Роман. — Я не ветеринар. А Витька не орнитолог. И вообще это, может быть, не попугай.

— А что?

— А я откуда знаю?

— Это, может быть, сложная наведенная галлюцинация, — сказал Эдик, не открывая глаз.

— Кем наведенная?

— Вот об этом я сейчас и думаю, — сказал Эдик.

Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился.

— Он раздваивается, — сказал я. — Это не галлюцинация.

— Я сказал: сложная галлюцинация, — напомнил Эдик.

Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп.

— Вот что, — сказал Корнеев. — Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один — все это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись!

— Не пойду, — сказал Эдик. — У меня есть еще одна идея.

— Какая?

— Не скажу.

— Почему?

— Побьете.

— Мы тебя и так побьем.

— Бейте.

— Нет у тебя никакой идеи, — сказал Витька. — Это все тебе кажется. Айда к психиатру.

Дверь скрипнула, и в лабораторию из коридора вошел Янус Полуэктович.

— Так, — сказал он. — Здравствуйте.

Мы встали. Он обошел нас и по очереди пожал каждому руку.

— Фотончик, — сказал он, увидя попугая. — Он вам не мешает, Роман Петрович?

— Мешает? — Сказал Роман. — Мне? Почему он мешает? Он не мешает. Наоборот...

— Ну, все-таки каждый день... — Начал Янус Полуэктович и вдруг осекся. — О чем это мы с вами вчера беседовали? — Спросил он, потирая лоб.

— Вчера вы были в Москве, — сказал Роман с покорностью в голосе.

— Ах... Да-да. Ну хорошо. Фотончик! Иди сюда!

Попугай, вспорхнув, сел Янусу на плечо и сказал ему на ухо:

— Пр-росо, пр-росо! Сахар-рок!

Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга.

— Пошли отсюда, — сказал Роман.

— К психиатру! К психиатру! — Зловеще бормотал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван. — В кратер Ричи. Др-рамба! Сахар-рок!

Фактов всегда достаточно
— Не хватает фантазии.

Д. Блохинцев

Глава 16

Витька составил на пол контейнеры с живой водой, мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил:

— Витька, а ты диван выключил?

— Да.

— Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет.

— Выключил и заблокировал, — сказал Витька.

— Нет, ребята, — сказал Эдик, — а почему все-таки не галлюцинация?

— Кто говорит, что не галлюцинация? — Спросил Витька. — Я же предлагаю — к психиатру.

— Когда я ухаживал за Майкой, — сказал Эдик, — я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось.

— Зачем? — Спросил Витька.

Эдик подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Наверное, от восторга.

— Я спрашиваю: зачем кому-то наводить на нас галлюцинации? — Сказал Витька. — И потом, мы не Майка. Мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус. Ну, Киврин, Хунта. Может быть, Жиакомо еще.

— Вот Саша у нас слабоват, — извиняющимся тоном сказал Эдик.

— Ну и что? — Спросил я. — Мне, что ли, одному мерещится?

— Вообще-то это можно было бы проверить, — задумчиво сказал Витька. — Если Сашку... Того... Этого...

— Но-но, — сказал я. — Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет.

Магистры жалостливо улыбнулись.

— Хороший ты программист, Саша, — сказал Эдик.

— Салака, — сказал Корнеев. — Личинка.

— Да, Сашенька, — вздохнул Роман. — Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация.

На лицах магистров появилось мечтательное выражение — видимо их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались. Они жмурились. Они подмигивали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал:

— Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать...

Витька очнулся.

— Берклианцы, — сказал он. — Солипсисты немытые. «Как ужасно мое представленье!»

— Да, — сказал Роман. — Галлюцинации — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая там у тебя была идея, Эдик?

— У меня?.. Ах да, была. Тоже в общем-то примитив. Матрикаты.

— Гм, — сказал Роман с сомнением.

— А как это? — Спросил я.

Эдик неохотно объяснил, что, кроме известных мне дублей, существуют еще матрикаты — точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей матрикат совпадает с оригиналом с точностью до структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки, и вообще это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзамо получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная маска». Этот матрикат Людовика Четырнадцатого был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сэгюр.

Я не знал тогда, кто такой Ришар Сэгюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.

— Да, это так, — сказал Эдик. — Я и не настаиваю. Тем более что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии.

— Вот именно, — сказал я смелее. — Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете? Как Луи Седловой.

— Ну? — Сказал Корнеев без особого интереса.

— Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же страницу и опять... Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще, — продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо, — можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы: он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует... По-моему, я все здорово объяснил, а?

— А что, есть такой фантастический роман? — С любопытством спросил Эдик. — С попугаем?..

— Не знаю, — сказал я честно. — Но у них там в звездолетах всякие животные бывают. И кошки, и дети... Опять же на западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь...

— Ну... Во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски, — сказал Роман. — А главное, совершенно непонятно, откуда эти космические попугаи — пусть даже из советской фантастики — могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру...

— Я уже не говорю о том, — лениво сказал Витька, — что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.

Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить.

— Впрочем, — благосклонно продолжал Витька, — наш Сашенция подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие.

— Не стал бы Янус сжигать идеального попугая, — убежденно сказал Эдик. — Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может.

— А почему? — Сказал вдруг Роман. — Почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Л. Седлового? У Януса есть тема. У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого!

— Давайте, — сказал я.

— Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нмбудь параллельным пространством? — Спросил Эдик.

— Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел? Эдик прав, это матрикаты, это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны: попугаи дохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался...

— Почему они говорят по-русски? — Спросил Эдик. — И почему все-таки у попугаев такой лексикон?

— Значит, и там есть Россия, — сказал Роман. — Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи.

— Сплошные натяжки, — сказал Витька. — Почему именно попугаи? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев — прекрасный работник?

— Грубый, — подсказал я.

— Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай?

— Вот что, — сказал Эдик. — Так нельзя. Мы работаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит». Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем...

И мы расписали все красивым Эдиковым почерком.

Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы: группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования и что яблочко от яблоньки далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список вопросов выглядел так.

Почему попугаи за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же? Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был перед первым (нулевого), и от которого осталось только перо? Куда девался второй (издохший) попугай? Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев? Как объяснить, что третий попугай знает всех нас, в то время как мы видим его впервые? («Почему и от чего издохли попугаи?» — Добавил было я, но Корнеев проворчал: «Почему и отчего первым признаком отравления является посинение трупа?» — И мой вопрос не записали.) Что объединяет Януса и попугаев? Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера? Что происходит с Янусом в полночь? Почему у-Янус имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как за а-Янусом ничего подобного не замечалось? Почему их вообще двое, и откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах?

После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда: что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира, но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно только, если считать, что эти три или четыре попугая — один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров — в особенности шестизначных — для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушается закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон... Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал:

— Ребята, кажется, я догадываюсь.

Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему — одновременно и с шумом. Витька встал.

— Это просто, как блин, — сказал он. — Это тривиально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать.

Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился.

— Контрамоция! — Изрек Витька.

Эдик лег.

— Хорошо! — Сказал он. — Молодец!

— Контрамоция? — Сказал Роман. — Что ж... Ага... — Он завертел пальцами. — Так... Угу... А если так?.. Да, тогда понятно, почему он нас всех знает... — Роман сделал широкий приглашающий жест. — Идут, значит, оттуда...

— И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера, — подхватил Витька. — И фантастическая терминолгия...

— Да подождите вы! — Завопил я. Последняя страничка детектива была написана по-арабски. — Подождите! Какая контрамоция?

— Нет, — сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не подойдет. — Не получается, — сказал Роман. — Это как кино... Представь себе кино...

— Какое кино?! — Закричал я. — Помогите!!!

— Кино наоборот, — пояснил Роман. — Понимаешь? Контрамоция.

— Дрянь собачья, — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки.

— Да, не получается, — сказал Эдик тоже с сожалением. — Саша, ты не волнуйся: все равно не получается. Контрамоция — это, по определению, движение по времени в обратную сторону. Как нейтрино. Но вся беда в том, что, если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы... А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот-Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем «вчера». Потому что наше «вчера» было бы для него «завтра».

— В том-то и дело, — сказал Витька. — Я так и подумал: почему попугай говорил про Ойру-Ойру «стар»? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего...

— Послушайте, а разве это возможно — контрамоция? — Сказал я.

— Теоретически возможно, — сказал Эдик. — Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался.

— Кому это нужно и кто это выдержит? — Сказал Витька мрачно.

— Положим, это был бы замечательный эксперимент, — заметил Роман.

— Не эксперимент, а самопожертвование, — проворчал Витька. — Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции... Нутром чую.

— Ах, нутром!.. — Сказал Роман, и все замолчали.

Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира и для мира контрамота... А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три и не четыре, а всего один, один и тот же. Что получается? Десятого с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее утром одиннадцатого он жив опять. Не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно! Я почувствовал, что это чертовски важно — чашка Петри... Единство места!.. Двенадцатого попугай опять жив и просит сахарок... Это не контрамоция, это не фильм, пущенный наоборот, но что-то от контрамоции здесь все-таки есть... Витька прав... Для контрамота ход событий таков: попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот: попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив... Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый... Какие-то разрывы непрерывности... Разрывы непрерывности... Точки разрыва...

— Ребята, — сказал я замирающим голосом, — а контрамоция обязательно должна быть непрерывной?

Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок. Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились.

— Полночь! — Сказал он страшным шепотом.

Все вскочили.

Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мне щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — Вопил Эдик. «Голова!» — Ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!» — Приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу.

Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно, и мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились! Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яства. Мы вдыхали ароматы, мы закатывали глаза и чмокали, мы потирали руки, ходя вокруг, мы предвкушали...

— Давайте, наконец, внесем ясность, — вкрадчивым голосом начал Роман, — в запутанную проблему Тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — все это слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня Тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев, и я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение Тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда. Что же произошло тридцатого июня тысяча девятьсот восьмого года в районе подкаменной Тунгуски? Примерно в середине *июля* того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это не были простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи! Люди, прибывшие в наш мир из другой Вселенной, где время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу Вселенную, как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамотов дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей Вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так. В течение, скажем, первого июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь они вместе со всем своим оборудованием переходят не во второе июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало тридцатого июня, то есть не на мгновение вперед, а на двое суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце тридцатого июня они переходят не в первое июля, а в самое начало двадцать девятого июня. И так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки — скачки, чрезвычайно затрудняющие навигацию. Кроме того, находясь над Землею первого июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше — второго, третьего и так далее июля в нашем счете времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их, однако научное их любопытство было окончательно распалено, когда утром тридцатого июня — в нашем счете времени — они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера — в его счете времени — своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался ка-гамма-плазмоин...

— Как-как? — Спросил Витька.

— Ка-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И не удивительно. Контрамоты вступили в свой новый день — двадцать девятое июня по нашему времяисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около двух часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса в нашей терминологии.

Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая.

— Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, числа пятнадцатого июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено, также, что где-нибудь в девятьсот шестом или, скажем в девятьсот первом году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое небольшое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было до. DIXI (я сказал (лат)).

Роман откашлялся и выпил кружку живой воды.

— У кого есть вопросы к докладчику? — Осведомился Эдик. — Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слова?

Слова просили все. И все заговорили. Даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим, и через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающе ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления.

В тысяча восемьсот сорок первом году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий, скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса старшего, и, верно, потому он не замечал того, чему дивились другие: старик не только не дряхлел с годами, но, напротив, становился как будто бы даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в научно-исследовательский институт чародейства и волшебства...

Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я.П. Невструев седьмого марта тысяча восемьсот сорок первого года. Каким образом и когда Я.П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился, о том что а-Янус и у-Янус — один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры-Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра-Ойра узнал от Жиакомо и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказала об этом уборщица, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Баалович и Федор Симеонович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме бога.

Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно. А-Янус, который занят сейчас больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга — маленького зеленого попугая по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится девятнадцатого мая не то тысяча девятьсот семьдесят третьего, не то две тысячи семьдесят третьего года — именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, вскорости после этого а-Янус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя и попугая фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невструева, а человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо а-Янус превратится в у-Януса, и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни а-Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо у-Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в ноль часов ноль-ноль минут ноль-ноль секунд ноль-ноль терций по местному времени а-Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как у-Янус и его попугай в тот же самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро.

Вот почему попугаи за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, были так похожи друг на друга: они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон! Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал. Мы естественно, наблюдали весь этот процесс, как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, десятого, Роман находит его в чашке Петри. У-Янус находит покойника тогда же и там же сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в девятое. Одиннадцатого с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами (на которых он будет так любить сидеть теперь), и простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро десятого, будет найден там у-Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро девятого, и там его найдет Роман. Двенадцатого с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро одиннадцатого, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро десятого, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро девятого, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и так далее фотон, на радость всем нам будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца, а у-Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном, личном будущем.

Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, Амперяна, безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна и что тем не менее мы все там будем. И вообще, сказал Роман, может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас и только твою смерть запомнит. Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение у него улучшилось.

Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть у-Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собою образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу к Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенной площади и — кто знает? — Может быть, навстречу аракчеевщине, бироновщине, опричнине. И где-то в глубине времен, на вощенном паркете Санкт-Петербургской де Сиянс Академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике — коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается — ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах проборомочет: «Герр Нефструефф!.. Как ше это?.. Федь фчера ф «Федомостях» определенно писали, што фы скончались от удар...» И ему придется говорить что-то о брате близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор...

— Бросьте, — сказал Корнеев. — Распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все умрем.

— Это совсем другое дело, — сказал грустно Эдик.

— Старику тяжело, — сказал Роман. — Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь.

— А что он ко мне пристает? — Огрызнулся Витька. — О чем беседовали да где виделись...

— Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично.

Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.

— Надо объяснять ему все поподробнее, — сказал я. — Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее.

— Да, черт возьми, — сказал Роман. — Он этой зимой ногу сломал. На гололеде.

— Надо предотвратить, — решительно сказал я.

— Что? — Спросил Роман. — Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась...

— Но она у него еще не сломана, — возразил Эдик.

Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал:

— Постойте-ка! А это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут.

— Какой?

— Куда девалось перо?

— Ну как — куда? — Сказал Роман. — Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал...

— Ну и что из этого?

— Да, ведь я же его бросил в корзинку... Восьмого, седьмого, шестого я его не видел... Гм... Куда же оно делось?

— Уборщица выбросила, — предположил я.

— Вообще об этом интересно подумать, — сказал Эдик. — Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?

— Есть вещи поинтереснее, — сказал Витька. — Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще...

Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою «Спидолу» и стал просить два рубля «...Ну дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть... Дали бы!..» Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.

— В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж фантастична. Может быть, судьба у-Януса гораздо удивительнее.

Очень может быть, подумали мы и пошли в столовую.

Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на у-Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.

— Нет, Янус Полуэктович, — сказал я. — Вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву.

— Ах да, — сказал он. — Я запамятовал.

Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись:

— Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос? Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо вспомнив что-то, сказал: — Пожалуйста, прошу вас. Только один? Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда нибудь последний дурак?.. Я сказал:

— Можно, я зайду к вам завтра с утра?

Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил:

— Нет. Это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет китежградский завод, и мне придется дать вам командировку.

Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, не зависящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Речь шла о неизбежности. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать («Вплоть до увольнения!»), Я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград (куда я, кстати, рвался уже три месяца) тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете...

— Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли? — Сказал Янус Полуэктович, откровенно за мною наблюдавший. — А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то... Постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый поступок творит какое-нибудь из них. Вы это поймете, — сказал он убедительно. — Вы это обязательно поймете.

Позже я действительно это понял.

Но это уже совсем-совсем другая история.

Часть IV

Послесловие и комментарий

Краткое послесловие и комментарий И. О. Заведующего вычислительной лабораторией *НИИЧАВО* младшего научного сотрудника *А.И. Привалова*

Предлагаемые очерки из жизни научно-исследовательского института чародейства и волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г. Проницательного и Б. Питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей.

Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюктурных фокусах Выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела абсолютного знания. Далее, приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них — не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из «Курса дифференциального и интегрального исчисления». Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду так называемой правде фактов. И будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я тем не менее считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки.

1. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это и в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачи. (Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому вопросу, но они пожали плечами и несколько обиженно сказали, что я отношусь к очеркам слишком серьезно.)

2. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги. Так, например, формулируя диссертационную тему М.Ф. Редькина, они допустили четырнадцать (!) фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не м-поля, а мю-поля; что термин «живая вода» вышел из употребления в позапрошлом веке; что таинственного прибора, под названием аквавитометр, и электронной машины под названием «Алдан», в природе не существует; что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ — для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно: на совести авторов остаются дикие термины «вектор-магистатум» и «заклинание Ауэрса»; уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. (Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом.)

Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались: один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой — что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной и что какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит.

3. Стремление к упомянутой выше художественной правде (по выражению одного из авторов) и типизации (по выражению другого) привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегалло и в какой-то степени Кристобаль Хозевич Хунта (я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-нибудь другой). Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб. Но именно поэтому описанный Корнеев выглядит «полупрозрачным изобретателем» (в терминологии самих авторов) по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Э. Амперяна. Р.П. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.

Авторы попросили меня объяснить некоторые непонятные термины и малознакомые имена, встречающиеся в книге. Выполняя эту просьбу, я встретился с определенными затруднениями. Естественно, объяснять терминологию, выдуманную авторами («аквавитометр», «темпоральная передача» и т. п.), я не собираюсь. Но я не думаю, что большую пользу принесло бы объяснение даже реально существующих терминов, требующих основательных специальных знаний. Невозможно, например, объяснить термин «гиперполе» человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума. Термин «трансгрессия» еще более емок, и вдобавок разные школы употребляют его в разных смыслах. Короче говоря, я ограничился комментарием к некоторым именам, терминам и понятиям, достаточно широко распространенным, с одной стороны, и достаточно специфичным в нашей работе — с другой. Кроме того, я откомментировал несколько слов, не имеющих прямого отношения к магии, но могущих вызвать, на мой взгляд, недоумение читателя.

авгуры — в Древнем Риме жрецы, предсказывавшие будущее по полету птиц и по их поведению. Подавляющее большинство из них было сознательными жуликами. В значительной степени это относится и к институтским авгурам, хотя теперь у них разработаны новые методы.

анацефал — урод, лишенный головного мозга и черепной коробки. Обыкновенно анацефалы умирают при рождении или несколько часов спустя.

Бецалель, Лев Бен — известный средневековый маг, придворный алхимик императора Рудольфа II.

вампир — см. *вурдалак*.

василиск — в сказках — чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом. На самом деле — ныне почти вымерший древний ящер, покрытый перьями, предшественник первоптицы археоптерикса. Способен гипнотизировать. В виварии института содержатся два экземпляра.

вервольф — см. *оборотень*.

вурдалак — см. *упырь*.

гарпии — в греческой мифологии — богини вихря, а в действительности — разновидность нежити, побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. Имеют вид больших рыжих птиц со старушечьими головами, очень неопрятны, прожорливы и сварливы.

гидра — у древних греков — фантастическая многоголовая водяная змея. У нас в институте — реально существующая многоголовая рептилия, дочь З. Горыныча и плезиозаврихи из озера Лох-Несс.

гном — в западноевропейских сказаниях — безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. Я разговаривал с некоторыми из гномов. Они действительно безобразны и действительно карлики, но ни о каких сокровищах они понятия не имеют. Большинство гномов — это забытые и сильно усохшие дубли.

Голем — один из первых кибернетических роботов, сделан из глины Львом Бен Бецалелем. (См., Например, чехословацкую кинокомедию «Пекарь императора». Тамошний Голем очень похож на настоящего.)

гомункулус — в представлении неграмотных средневековых алхимиков — человекоподобное существо, созданное искусственно в колбе. На самом деле в колбе искусственное существо создать нельзя. Гомункулусов синтезируют в специальных автоклавах и используют для биомеханического моделирования.

данаиды — в греческой мифологии — преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насильно. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили.

демон Максвелла — важный элемент мысленного эксперимента крупного английского физика Максвелла. Предназначался для нападения на второй принцип термодинамики. В мысленном эксперименте Максвелла демон располагается рядом с отверстием в переборке, разделяющей сосуд, наполненный движущимися молекулами. Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда в другую быстрые молекулы и закрывать отверстие перед носом медленных. Идеальный демон способен таким образом без затраты труда создать очень высокую температуру в одной половине сосуда и очень низкую — в другой, осуществляя вечный двигатель второго рода. Однако только сравнительно недавно и только в нашем институте удалось найти и приспособить к работе таких демонов.

джинн — злой дух арабских и персидских мифов. Почти все джинны являются дублями царя Соломона и современных ему магов. Использовались в военных и политико-хулиганских целях. Отличаются отвратительным характером, наглостью и полным отсутствием чувства благодарности. Невежественность и агрессивность их таковы, что почти все они находятся в заключении. В современной магии широко используются в качестве подопытных существ. В частности, Э. Амперян на материале тринадцати джиннов определял количество зла, которое может причинить обществу злобный невежественный дурак.

Джян Бен Джян — либо древний изобретатель, либо древний воитель. Имя его всегда связано с понятием щита и отдельно не встречается. (Упоминается, например, в «Искушении Святого Антония» Г. Флобера.)

домовой — в представлении суеверных людей — некое сверхъестественное существо, обитающее в каждом обжитом доме. Ничего сверхъестественного в домовых нет. Это либо вконец опустившиеся маги, не поддающиеся перевоспитанию, либо помеси гномов с некоторыми домашними животными. В институте находятся под началом М.М. Камноедова и используются для подсобных работ, не требующих квалификации.

Дракула, граф — знаменитый венгерский вурдалак XVII–XIX вв. Графом никогда не был. Совершил массу преступлений против человечности. Был изловлен гусарами и торжественно проткнут осиновым колом при большом скоплении народа. Отличался необычайной жизнеспособностью: вскрытие обнаружило в нем полтора килограмма серебряных пуль.

звезда Соломонова — в мировой литературе — магический знак в виде шестиконечной звезды, обладающий волшебными свойствами. В настоящее время, как и подавляющее большинство других геометрических заклинаний, потерял всякую силу и годен исключительно для запугивания невежественных людей.

инкуб — разновидность оживших мертвецов, имеет обыкновение вступать в браки с живыми. Не бывает. В теоретической магии термин «инкуб» употребляется в совершенно другом смысле: мера отрицательной энергии живого организма.

инкунабула — так называют первые печатные книги. Некоторые из инкунабул отличаются поистине гигантскими размерами.

ифрит — разновидность *джинна*. Как правило, ифриты — это хорошо сохранившиеся дубли арабских военачальников. В институте используются М.М. Камноедовым в качестве вооруженной охраны, так как отличаются от прочих джиннов высокой дисциплинированностью. Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-нибудь изучен досконально, потому что никому не нужен.

кадавр — вообще говоря, оживленный неодушевленный предмет: портрет, статуя, идол, чучело. (См., например, А.Н. Толстой, «Граф Калиостро»). Одним из первых в истории кадавров была небезызвестная Галатея работы скульптора Пигмалиона. В современной магии кадавры не используются. Как правило, они феноменально глупы, капризны, истеричны и почти не поддаются дрессировке. В институте кадаврами иногда иронически называют неудавшихся дублей и дублеподобных сотрудников.

левитация — способность летать без каких бы то ни было технических приспособлений. Широко известна левитация птиц, летучих мышей и насекомых.

«Молот ведьм» — старинное руководство по допросу третьей степени. Составлено и применялось церковниками специально в целях выявления ведьм. В новейшие времена отменено как устаревшее.

оборотень — человек, способный превращаться в некоторых животных: в волка (вервольф), в лисицу (кицунэ) и т. д. У суеверных людей вызывает ужас, непонятно почему. В.П. Корнеев, например, когда у него разболелся зуб мудрости, обернулся петухом, и ему сразу полегчало.

оракул — по представлениям древних, средство общения богов с людьми: полет птицы (у авгуров), шелест деревьев, бред прорицателя и т.д. Оракулом называлось также и место, где давались предсказания. «Соловецкий оракул» — это небольшая темная комната, где уже много лет проектируется установить мощную электронно-счетную машину для мелких прорицаний.

пифия — жрица-прорицательница в Древней Греции. Вещала, надышавшись ядовитых испарений. У нас в институте пифии не практикуют. Очень много курят и занимаются общей теорией предсказаний.

рамапитек — по современным представлениям, непосредственный предшественник питекантропа на эволюционной лестнице.

Сэгюр Ришар — герой фантастической повести «Загадка Ришара Сэгюра», открывший способ объемной фотографии.

таксидермист — чучельник, набивщик чучел. Я порекомендовал авторам это редкое слово, потому что К.Х. Хунта приходит в ярость, когда его называют просто чучельником.

терция — одна шестидесятая часть секунды.

триба — здесь: племя. Решительно не понимаю, зачем издателям книги судеб понадобилось называть племя рамапитеков трибой.

«Упанишады» — древнеиндийские комментарии к четырем священным книгам.

упырь — кровососущий мертвец народных сказок. Не бывает. В действительности упыри (вурдалаки, вампиры) — это маги, вставшие по тем или иным причинам на путь абстрактного зла. Исконное средство против них — осиновый кол и пули, отлитые из самородного серебра. В тексте слово «упырь» употребляется везде в переносном смысле.

фантом — призрак, привидение. По современным представлениям — сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны. В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут.

А. Привалов